

Санд Ж.



**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ:
ЛУКРЕЦИЯ ФЛОРИАНИ
ФРАНСУА-НАЙДЕНЬШ**

Собрание сочинений

Жорж Санд

**Лукреция Флориани.
Франсуа-найденыш (сборник)**

«Алгоритм»

1847, 1850

УДК 82/89
ББК 84(4Фр)

Санд Ж.

Лукреция Флориани. Франсуа-найденыш (сборник) / Ж. Санд — «Алгоритм», 1847, 1850 — (Собрание сочинений)

ISBN 978-5-486-03054-3

Жорж Санд (1804–1876) – псевдоним французской писательницы Авроры Дюпен-Дюдеван, чье творчество вдохновлялось искренними идеями борьбы против социальной несправедливости, за свободу и счастье человека. В ее многочисленных романах и повестях идеи освобождения личности (женская эмансипация, сочувствие нравственно и социально униженным) сочетаются с психологическим воссозданием идеально-возвышенных характеров, любовных коллизий. Путеводной нитью в искусстве для Жорж Санд был принцип целесообразности, блага, к которому нужно идти с полным пониманием действительности, с сознанием своей правоты, с самоотречением и самозабвением. «Лукреция Флориани» – роман о трагической любви князя Кароля фон Росвальда и бывшей актрисы Флориани. Как и многие другие произведения Жорж Санд, он отражает одну из историй ее увлечений, взаимоотношения писательницы с Шопеном. Основная мысль второго произведения, входящего в том, – повести «Франсуа-найденыш» – привить детям трудолюбие, воспитать честными, развить в них добрые инстинкты.

УДК 82/89
ББК 84(4Фр)

ISBN 978-5-486-03054-3

© Санд Ж., 1847, 1850

© Алгоритм, 1847, 1850

Содержание

Луcretия Флориани	6
Конец ознакомительного фрагмента.	55
Комментарии	

Жорж Санд

Лукреция Флориани.

Франсуа-найденых (сборник)

Лукреция Флориани

[1]

Предисловие

Любезный читатель (обращение это старинное, но самое лучшее), предлагаю на суд твой новое свое сочинение в жанре, который был известен уже древним грекам; боюсь, оно тебе не слишком понравится. Миновали времена, когда

...В введении своем молил писатель,
Чтоб снисхождение к нему явил читатель^[2].

С тех пор, как Буало указал на сию ложную скромность, недостойную великих людей, от нее многие уже избавились. Ныне авторы ведут себя весьма дерзко, и если предваряют книгу вступлением, то в нем ошеломленному читателю доказывают, что ему надлежит, приступая к чтению, снять шляпу, восторгаться и помалкивать.

И очень хорошо, что с тобой так обращаются, благосклонный читатель, ведь это приносит успех. А ты не выказываешь неудовольствия, ибо отлично знаешь, что автор не такой уж вздорный человек, каким хочет прослыть, что это всего лишь прием, мода, манера рядиться в чужие одежды, а вообще-то он сделает все, что в его силах, и постарается угодить твоему вкусу.

Ну а вкус у тебя, мой славный читатель, подчас весьма дурной. С той поры как ты перестал быть французом, тебе нравится все, что противно французскому духу, французскому складу ума, старинной манере выражаться и ясному, простому истолкованию событий и характеров. Чтобы потрафить тебе, автору надо обладать одновременно драматизмом Шекспира и романтизмом Байрона, причудливой фантазией Гофмана и тягой к ужасам, присущей Льюису^[3] и Анне Рэдклиф^[4], да еще возвышенностью Кальдерона и всего испанского театра в придачу; а ежели он довольствуется подражанием лишь одному из этих образцов, ты находишь, что его творению недостает колорита.

Из-за твоего неразборчивого вкуса школа романа очертя голову кинулась в хитросплетения ужасов, убийств, измен, грозных неожиданностей, причудливых страстей, поразительных событий – словом, пустилась во все тяжкие, отчего у людей неискушенных, которым отсутствие проницательности и уверенности в себе не позволяет угнаться за нею, кружится голова.

Вот на что шли, лишь бы тебя убаготворить; если же для виду тебе порой и отпускали пощечину, то делали это лишь для того, чтобы привлечь твое внимание, и затем сделать все, чего ты только пожелаешь. А посему я заявляю, что никогда еще публику так не улещали и не баловали, никогда перед ней так не заискивали, как в нынешнее время, когда книги потоком обрушиваются на читающих.

Ты уже простил другим столько дерзостей, благосклонный читатель, что, верно, не рассердишься, если я выскажу еще одну, совсем уж пустяковую: поглощая столько пряностей, ты портишь себе желудок, наносишь ущерб своим чувствам и заставляешь сочинителей романов неразумно растрачивать силы. Ты вынуждаешь их до такой степени злоупотреблять все-

возможными приемами и настолько утомлять воображение, что вскоре оно вообще иссякнет, разве только изобретут новый язык и создадут новый род людской. Ты больше не позволяешь упасть талант, и он себя расточает. В один прекрасный день обнаружится, что все уже сказано, и авторы вынуждены будут повторяться. Это нагонит на тебя тоску, и ты, всегда неблагодарный к своим друзьям, забудешь, какие чудеса воображения и плодовитости они творили и какое удовольствие тебе этим доставляли.

Коль скоро дело обстоит так, спасайся кто может! Завтра возникнет попятное движение, наступит реакция. Мои собраты дошли до крайности, бьюсь об заклад, что они объединятся и станут хором требовать для себя иной работы – не столь трудной и более выгодной. В небе уже сгущаются тяжелые свинцовые тучи, пахнет грозой, и я благоразумно отхожу от того яростного круговорота, в который по твоей милости втянута литература. Я присаживаюсь у обочины дороги и смотрю, как мимо проносятся разбойники, предатели, могильщики, убийцы, обиралы, отравители, вооруженные до зубов кавалеры, растрепанные дамы – все окровавленные и неистовые актеры современной драмы. Я вижу, как они проносятся мимо, сжимая кинжалы, придерживая короны, запахивая нищенские лохмотья или пурпурные мантии, и проклинают тебя, ища для себя иного занятия, ибо им осточертела роль скаковых лошадей.

Но как поступить мне, бедняге, которому всегда были чужды поиски новой формы, как мне устоять перед этим вихрем и вместе с тем не прослыть чересчур отсталым, когда новая, пока никому еще не ведомая, но уже наступающая мода восторжествует и утвердится?

Сначала я отдохну и займусь небольшим, не слишком хлопотливым делом, ну а там поглядим! Ежели новая мода будет хороша, последуем за нею. Нынешняя чересчур причудлива, чересчур накладна; я же чересчур стар, чтобы подлаживаться к моде, да и средства мои того не позволяют. Стану, как раньше, щеголять в дедовском сюртуке: он удобен, прочен и прост.

Итак, читатель, следуя французской методе, по обычаю наших славных предков, я заранее предупреждаю тебя, что устранил из повести, которую буду иметь честь предложить твоему вниманию, главную приманку, самую острую из пряностей, какие в ходу на нынешнем торжище, – то есть все непредвиденное, внезапное. Не стану я то и дело повергать тебя в изумление, не стану заставлять в каждой главе испытывать то жар, то холод, – нет, я не спеша поведу тебя по совершенно ровной и тихой дороге и попрошу рассматривать то, что прямо перед тобою и позади, справа и слева: кусты в овраге, облака на горизонте – все, что откроется твоему взору на спокойных равнинах, которыми мы будем проходить. Если по случайности нам преградит путь лощина, я скажу: «Берегись, здесь лощина»; если нам встретится поток, я помогу тебе перебраться через этот поток, а не посоветую броситься в него очертя голову, чтобы потом со злорадством сказать другим: «Ловко я поймал этого читателя» или чтобы с удовольствием услышать твой вопль: «Уф! Чуть было не сломал шею, вот уж не думал; славную шутку сыграл со мной автор!»

Словом, я не стану над тобой насмехаться; полагаю, трудно рассчитывать на лучшее обращение... И все же вполне вероятно, что ты сочтешь меня самым заносчивым и самым высокомерным из романистов, что ты уже на полдороге выйдешь из себя и откажешься следовать за мною.

Сделай одолжение! Ступай, куда влекут тебя твои склонности. Я не возмущаюсь теми, кто пленяет тебя, действуя совсем иначе, чем сам я собираюсь действовать. И не питаю отвращения к моде. Любая мода хороша, пока она полновластно царит; о ней можно правильно судить только тогда, когда ее свергают с престола. Ибо на стороне моды божественное право, она – детище духа времени; однако мир достаточно велик, в нем найдется место для всех, а свободы, которыми мы пользуемся, разрешают нам по крайней мере сочинить плохой роман.

I

Юный князь Кароль фон Росвальд лишился матери незадолго до своего знакомства с Флориани.

Он был еще погружен в глубокую печаль, и ничто его не радовало. Княгиня фон Росвальд была превосходная, нежная мать, она окружала своего хилого, болезненного сына неусыпными заботами и самоотверженным уходом. Никогда не разлучаясь с этой достойной и благородной женщиной, он за всю свою жизнь изведаль лишь одно сильное чувство – сыновнюю любовь. Взаимная привязанность сына и матери превратила обоих в людей необыкновенных, но вместе с тем в их взглядах и чувствах было, пожалуй, что-то ограниченное. Правда, княгиня слыла женщиной весьма умной и широко образованной; ее речи и наставления были для юного Кароля важнее всего. Слабое здоровье закрыло мальчику путь к классическим занятиям, утомительным, сухим и упорным: сами по себе они не идут ни в какое сравнение с уроками просвещенной матери, но имеют то бесспорное преимущество, что приучают к труду, ибо служат неким ключом к познанию жизни. Отказавшись по совету врачей от педагогов и книг, княгиня фон Росвальд решила развивать ум и сердце сына, беседуя с ним, обо всем ему рассказывая, – словом, старалась *вдохнуть* в него свою душу, и он с восторгом впитывал ее нравственные правила. Вот как случилось, что он многое узнал, ничему не учившись.

Однако ничто не заменит опыта, и пощечина, которой в дни моего детства еще награждали малышей для того, чтобы в их памяти навсегда сохранилось воспоминание о глубоком чувстве, историческом событии, нашествии злодеяния или каком-либо ином *примере*, коему надлежало подражать или коего, напротив, следовало остерегаться, – пощечина эта не была такой уж нелепостью, как нам представляется ныне. Мы теперь больше не награждаем ею своих детей, но они ее так или иначе получают, и тяжелая десница опыта оставляет след куда более болезненный, чем родительская рука.

Итак, юный Кароль фон Росвальд узнал свет и жизнь рано, пожалуй, даже слишком рано, но узнал он их лишь умозрительно, а не на собственном опыте. Движимая похвальным стремлением возвысить душу сына, мать позволяла приближаться к нему только людям благородным, чьи наставления и пример могли стать для него благотворными. Он хорошо понимал, что *вне их круга* встречаются злодеи и глупцы, и научился избегать их, никогда не вступая с ними в общение. Кароля учили помогать обездоленным; ворота дворца, где прошло его детство, неизменно были открыты для нуждающихся; но, облегчая участь бедняков, он приучил себя не вникать в причину их невзгод и взирал на них, как на неисцелимую язву рода человеческого. Распутство, лень, невежество или недостаток здравого смысла – все эти роковые источники нравственного падения и нищеты не без основания представлялись ему неисправимыми пороками отдельных людей. Никто не объяснил ему, что простолюдины должны и могут постепенно от них освободиться и что, стараясь сделать человечество лучше, то споря с ним, то браня его, то лаская, как любимое дитя, прощая ему новое грехопадение во имя его медленного продвижения вперед, человек приносит больше пользы обществу, чем тогда, когда он из сострадания оказывает ограниченную помощь немощным и пораженным неизлечимыми недугами членам общества.

Нет, дело обстояло не так. Кароль усвоил, что милостыня – наш долг, который, конечно же, надо выполнять до тех пор, пока нынешнее социальное устройство делает ее необходимой. Но ведь это всего лишь одна из обязанностей, какие налагает на каждого любовь к необъятной человеческой семье. Существует еще множество иных обязанностей, и первая среди них – не жалеть, а любить ближнего своего. Юноша горячо поверил тому, что зло следует ненавидеть; но он усвоил это правило чересчур буквально и решил, что надлежит жалеть тех, кто творит зло; однако повторю вновь: *жалеть* мало. Чтобы стать справедливым и не отчаиваться

в грядущем, надобно *любить*. Негоже чересчур уж щадить себя, негоже обольщаться тем, что совесть у тебя самого чиста, а потому, мол, ты можешь быть вполне доволен собою. Славный юноша был достаточно великодушен и потому, наслаждаясь окружавшей его роскошью, испытывал угрызения совести, памятуя, что люди в большинстве своем лишены даже самого необходимого; однако сострадание его не распространялось на их нравственное убожество. Образ мыслей Кароля был недостаточно возвышен, он никогда не говорил себе, что всеобщая испорченность набрасывает тень даже на тех, кто ею не заражен, а потому первый долг всякого, кто устоял перед царящим в мире злом, – вести с ним непримиримую борьбу.

С одной стороны, он наблюдал аристократизм духа, утонченность ума, чистоту нравов, врожденное благородство чувств и говорил себе: «Будем с этими». С другой же стороны, видел отупение, низость, глупость, разврат, но не говорил себе: «Пойдем и попытаемся, если это возможно, возратить несчастных на путь истинный». Нет! Его приучили думать: «Они погибли! Дадим им хлеб и одежду, но не станем подвергать опасности свою душу, тесно соприкасаясь с их душами. Они погрязли во зле и в скверне, предоставим же их милосердию Божьему».

Привычка всего остерегаться мало-помалу переходит в своего рода эгоизм, и в глубине души княгиня была несколько суховата. Особенно когда дело касалось не ее самой, а сына. Она искусно отдаляла Кароля от его сверстников, едва лишь начинала подозревать, что те сумасбродны или просто ветрены. Она боялась, чтобы он общался с людьми, непохожими на него; а ведь именно такое общение и делает нас мужественными, придает нам силу и позволяет не только не поддаваться первому же соблазну, но, наоборот, противиться дурному примеру, сохранять свое влияние на других и способствовать торжеству добра.

Не будучи ни ханжой, ни святошей, княгиня была женщина достаточно благочестивая. Истинная и правоверная католичка, она не закрывала глаза на грехи окружающих, но не ведала против них иного лекарства, кроме долготерпения, ради вящей славы высоких догматов церкви. «Даже папа может ошибаться, – говаривала она, – он ведь тоже человек; но папство непогрешимо: оно – божественное установление». Вот почему идеи прогресса с трудом доходили до ее разума, и Кароль рано научился подвергать их сомнению и не уповал на то, что род людской может обрести спасение на земле. Он не так строго соблюдал религиозные обряды, как его мать (в наше время молодые люди, что там ни говори, быстро освобождаются от подобных пут), но верил в доктрину, утверждающую, что люди доброй воли спасутся, злая же воля прочих не может быть сломлена; доктрина эта довольствуется немногими *избранными* и равнодушно взирает на то, как *званные*, которых гораздо больше, ввергают себя в геенну вечного зла: унылая и мрачная, она превосходно согласуется со взглядами знати и привилегиями богатых. На небесах, как и на земле, рай ожидает немногих, а всем остальным уготован ад. Слава, благополучие и награды – удел единиц; стыд, унижение и кара ожидают почти всех.

Человек по природе своей добродетельный и возвышенный, впадая в подобное заблуждение, расплачивается за это неизбывной грустью. И только люди бесчувственные и глупые безропотно мирятся с таким положением. Княгиня фон Росвальд страдала от фатализма католической веры, суровые установления которой она не решалась подвергать сомнению. Дама эта была постоянно исполнена торжественной, можно даже сказать, назидательной важности и мало-помалу приобщила к ней сына, – если не внешне, то внутренне. Вот почему Кароль никогда не знал веселья, непосредственности, слепой и благотворной доверчивости, свойственной детству. По правде сказать, у него и вовсе не было детства: думы его были окрашены меланхолией, и даже когда для него наступила пора романических увлечений, воображение его волновало лишь романы мрачные и печальные.

Несмотря на ложный путь, по которому следовал дух Кароля, в его натуре было много очарования. Добрый, мягкосердечный, всегда и во всем утонченный, он уже в пятнадцать лет соединял очарование отрока с серьезностью взрослого. Он был хрупок и физически, и душевно. Но именно отсутствие развитой мускулатуры позволило ему сохранить неотразимо

прелестный облик, как бы лишенный примет возраста и пола. Внешне он совсем не походил на мужественного и отважного отпрыска вельмож былых времен, которые умели лишь пить, охотиться да воевать; не походил он также на миловидного, но изнеженного розового херувима. Скорее он чем-то напоминал те совершенные творения, которыми живописцы Средних веков украшали христианские храмы: дивноликый ангел, прекрасный, как высокая скорбная женщина, гибкий и стройный, как юный бог с Олимпа; и венчало этот неповторимый облик выражение его лица – одновременно нежное и суровое, непорочное и страстное.

Это и составляло основу его натуры. Вряд ли существовали помыслы более чистые и вместе с тем более восторженные; вряд ли существовали более глубокие, бескорыстные и самоотверженные привязанности. Если бы можно было забыть о существовании рода людского и поверить, будто он сосредоточился и воплотился в одном-единственном человеке, то именно Каролю стали бы поклоняться на развалинах мира. Однако он был недостаточно связан с другими людьми. Он понимал лишь то, что было сродни ему самому: свою матушку, чьим безупречным и ярким отражением он был; Бога, о котором он составил себе весьма странное и подходившее к складу его ума представление; и, наконец, возвышенный идеал женщины, которую он сотворил по своему образу и подобию и заранее любил, еще не зная.

Все остальное казалось ему только неким докучливым сновидением, от которого он стремился избавиться, живя среди людей в полном одиночестве. Всегда погруженный в мечты, Кароль был совершенно лишен чувства реальности. Ребенком он не мог прикоснуться к ножу, не поранившись при этом; став мужчиной, он с трудом выносил общество человека, непохожего на него самого: он испытывал болезненное чувство от столкновения с этим живым противоречием.

От постоянного противоборства его спасало ставшее привычным стремление не замечать и не слышать того, что вообще было ему не по нраву, даже если это и не затрагивало его собственных пристрастий. Люди, мыслившие иначе, чем он, представлялись ему какими-то призраками, но вместе с тем Кароль отличался пленительной учтивостью, а потому можно было счесть вежливым доброжелательством то, что на самом деле было с его стороны лишь холодным презрением или даже неодолимым отвращением.

Весьма странно, что при таком характере у юного князя были друзья. А между тем они у него были, и не только друзья его матери, которые чтили в нем достойного сына благородной женщины, но и его сверстники, которые горячо любили Кароля и верили, что он тоже их любит. Он и сам так думал, но любил-то он их скорее умом, а не сердцем. Он создал себе высокое представление о дружбе и в пору первых иллюзий искренне верил, что он и его друзья, воспитанные примерно в том же духе и в тех же правилах, никогда не изменят своих воззрений и не придут к разладу.

И все же это произошло; Каролю было двадцать четыре года, когда скончалась его мать, и тут он обнаружил, что почти все друзья наскучили ему. Лишь с одним, самым верным, остался он близок. То был молодой итальянец, несколькими годами старше его, с благородным лицом и великодушным сердцем; человек пылкий и восторженный, он всем отличался от юного князя, но одно по крайней мере сближало их: как и Кароль, он пламенно любил прекрасное в искусстве и исповедовал идеалы рыцарской верности и прямодушия. Это именно он оторвал Кароля от гробницы матери, увез под животворное небо Италии и впервые ввел в дом Флориани.

II

Но кто ж такая эта Флориани, уже дважды упомянутая в предшествующей главе, хотя при этом мы ни на шаг не приблизились к ней?

Терпение, друг читатель. В тот самый миг, когда я уже собрался постучать в двери дома моей героини, я вдруг заметил, что недостаточно познакомил вас со своим героем и мне придется просить вас благосклонно отнестись к еще кое-каким длиннотам.

Нет на свете никого, кто был бы требовательнее и нетерпеливее читателя романов; но меня это нимало не заботит. Мне надо показать всего человека, иными словами – целый мир, беспредельный океан противоречий, разноречивых черт, слабостей и высоких порывов, здравых суждений и необдуманных поступков, а вы хотите, чтобы мне хватило для этого одной коротенькой главы! Ну нет, я не справлюсь с такой задачей без некоторых подробностей и торопиться не стану. Если вас это утомляет, пропустите несколько страниц, но коли позднее вы не поймете поведения героя, сами будете виноваты, а не я.

Человек, которого я вам представляю, – именно *он*, а не кто другой. Я мало что объясню, сказав, что он молод, красив, хорошо сложен и обладает прекрасными манерами. Все герои романов таковы, а мой герой – существует ли он на самом деле или выдуман мною – человек, которого я вижу как живого и стремлюсь нарисовать его. Нрав у него весьма определенный, но к врожденным качествам человека невозможно, увы, применить сакраментальные слова, которыми пользуется естествоиспытатель, определяя аромат растения или минерала и говоря, что они издают запах *sui generis*¹.

Выражение «*sui generis*» ничего не объясняет, а я утверждаю, что у князя Кароля фон Росвальда был нрав *sui generis*, который объяснить можно.

В силу хорошего воспитания и природной утонченности внешне он был так ласков и сердечен, что обладал даром нравиться даже тем, кто его почти не знал. Красивое лицо сразу же вызывало расположение к нему; хрупкое телосложение придавало ему особый интерес в глазах женщин; широкая образованность и живость ума, ненавязчивая и приятная, но при этом своеобразная манера вести беседу привлекали к князю внимание людей просвещенных. Что же до тех, кто был не столь утончен, то им нравилась его изысканная учтивость; она действовала на них неотразимо, ибо в простоте душевной они не подозревали, что держать себя так он почитает своим долгом, но не вкладывает в это ни крупинки подлинного чувства.

Будь этим людям дано постичь Кароля, они бы сказали, что в нем больше любезности, чем любви, и, если судить по его отношению к ним, они были бы правы. Но как могли они разгадать его душу, когда редкие сердечные привязанности юного князя были такими пылкими, глубокими и прочными.

Вот почему Кароля все же любили, если и не с уверенностью, то, во всяком случае, с надеждой на ответное чувство с его стороны. Юные друзья князя, замечая, как он слаб и неловок в физических упражнениях, и не думали презирать его за это, тем более что и сам он не обольщался на собственный счет. Когда в разгаре их буйных потех он осторожно опускался на траву и с грустной улыбкой говорил своим товарищам: «Развлекайтесь, милые друзья, я не в силах ни бороться, ни бегать наперегонки; а когда устанете, присядете отдохнуть рядом со мною», – то порою случалось, что даже самые неустойчивые – ведь сила естественная покровительница слабости! – великодушно отказывались от своих излюбленных гимнастических упражнений и присаживались возле него.

Среди тех, кто был очарован, даже заморожен поэтической натурой Кароля и изяществом его ума, следует прежде всего упомянуть Сальватора Альбани. Этот славный молодой человек был олицетворением прямооты; однако Кароль приобрел над ним такую власть, что тот никогда не отваживался открыто противоречить юному князю, хотя некоторые взгляды Кароля казались Сальватору несуразными, а привычки – причудливыми. Он опасался разгневать приятеля и вызвать охлаждение к себе, как это уже произошло со многими другими. Он заботился о Кароле, как о малом ребенке, когда тот – скорее нервный и впечатлительный, нежели и в самом

¹ Своеобразный (лат.).

деле больной, – уходил к себе в комнату, желая скрыть от матери свое недомогание, которое ее так тревожило. Мало-помалу Сальватор Альбани сделался просто необходим юному князю. Он понимал это и, когда пыл молодости побуждал его искать развлечений на стороне, либо жертвовал своими удовольствиями, либо из великодушия лицемерил и таил их, говоря себе, что если Кароль его разлюбит, то не захочет долее сносить дружеские заботы и добровольно обрежет себя на гибельное одиночество. Таким образом, Сальватор любил Кароля потому, что тот нуждался в нем; он из какого-то необъяснимого чувства жалости весьма снисходительно относился к возвышенным взглядам князя, которых тот упрямо придерживался. В угоду Каролю он восторгался стоической философией, хотя сам, в сущности, был, как говорится, эпикурейцем^[5]. Утомленный безумствами, которым он предавался накануне, Альбани покорно читал у изголовья Кароля сочинение об аскетизме. Он простодушно восторгался картиной единственной, необычайной, неслабеющей и беспредельной любви, которой предстояло заполнить жизнь его юного друга. Он и вправду находил такую любовь великолепной, но сам не мог обходиться без легких интрижек и скрывал от князя свои многочисленные амурные похождения.

Эта невинная ложь могла продолжаться лишь до поры до времени, и мало-помалу Кароль с горечью убедился, что его друг отнюдь не святой. Однако когда пробил час этого грозного испытания, Сальватор уже стал ему так необходим и Кароль к тому же был вынужден признать за ним столько превосходных качеств ума и сердца, что волей-неволей продолжал любить друга, правда, гораздо меньше, чем прежде, но все же настолько, что постоянно нуждался в его обществе. Тем не менее он так и не смог примириться с юношескими похождениями Сальватора, и эта привязанность, вместо того чтобы смягчать привычную печаль Кароля, терзала его, точно рана.

Сальватор страшился суровости княгини фон Росвальд еще больше, нежели суровости Кароля, и старательно скрывал от нее то, что с таким ужасом обнаружил юный князь. Длительная и тяжкая болезнь, которая в конце концов свела ее в могилу, также способствовала тому, что она в последние годы жизни стала менее проницательна; когда же Кароль узрел тело матери на смертном одре, он впал в такое беспросветное отчаяние, что Сальватор вновь обрел над ним былое влияние: только он был способен удержать князя от решимости уморить себя.

Уже во второй раз смерть поразила предмет глубокой душевной привязанности Кароля. Когда-то он любил юную девушку, которую прочили ему в жены. То был единственный роман в его жизни, и мы поговорим о нем в свое время и в надлежащем месте. Отныне ему некого было любить на земле, кроме Сальватора. И он любил его; но любил с надрывом, страдая и испытывая горечь оттого, что друг неспособен чувствовать себя таким же несчастным, как он сам.

Через полгода после постигшего Кароля удара, без сомнения, более страшного и чувствительного, чем смерть невесты, князь фон Росвальд мчался в почтовой карете, вихрем вздымавшей горячую пыль, – он путешествовал по Италии, куда его против воли увлек настойчивый друг. Сальватор стремился к удовольствиям и веселью, однако он всем пожертвовал ради того, кого называли «его балованным ребенком». Когда при нем так говорили, он отвечал: «Скажите лучше, что он – мой любимый ребенок; но хотя госпожа фон Росвальд и я сам нежно лелеяли Кароля, ни душа его, ни нрав от того не пострадали. Он не стал ни капризным, ни деспотическим, не сделался он ни неблагодарным, ни сумасбродным, он чувствителен к малейшим знакам внимания и признателен мне за преданность гораздо больше, нежели я того заслуживаю».

Такое признание свидетельствовало о великодушии самого Сальватора, но говорил он сущую правду. У Кароля не было мелких недостатков. Был лишь один – огромный, не заживший от его воли и гибельный: душевная нетерпимость. Князь не умел подчинять свои чувства и помыслы любви к ближнему и потому не мог усвоить более широкий взгляд на дела человеческие. Он принадлежал к тем, кто видит добродетель в воздержании от зла, но не понимает самой сути Евангелия, букве которого, впрочем, неукоснительно следует, – а именно той

любви кающегося грешника, что вызывает большее ликование на небесах, нежели твердость и постоянство сотни праведников, той веры в возвращение заблудшей овцы, словом, самого духа Христа, который вытекает из всего его учения и присутствует во всех его речах, призывая понять, что тот, кто любит, даже если он и заблуждается, выше того, кто шествует прямой, но холодной и одинокой стезею.

Общаться с Каролем в повседневной жизни было одно удовольствие. Его доброжелательность принимала самые различные формы, отмеченные необычайным очарованием, и он выражал свою признательность с таким глубоким чувством, что с лихвою отплачивал за дружеское к себе расположение. Даже в его печали, которая казалась неизбывной и которой, как он сам думал, не будет конца, таилась некая отрешенность, словно князь лишь уступал стремлению Сальватора сохранить его для жизни.

На самом же деле слабое здоровье Кароля вовсе не было непоправимо расстроено и жизни его не угрожала серьезная опасность; однако привычка постоянно чувствовать себя больным и никогда не испытать свои силы внушила ему уверенность, что он не надолго переживет мать. Он незаметно убедил себя, что чахнет с каждым днем, и, обуреваемый подобными мыслями, принимал заботы Сальватора, тая от друга свою уверенность, что он, Кароль, уже недолго будет в них нуждаться. Внешне князь выказывал много мужества; если он и не принимал с неодолимой беспечностью молодости мысль о близкой кончине, то, во всяком случае, ожидал ее с каким-то горьким сладострастием.

Исполнившись такой уверенностью, он с каждым днем все больше отдалялся от людей и уже не считал себя частицей человечества. Все земные горести становились ему чужды. Кароль думал, что Господь Бог, конечно же, избавил его от необходимости тревожиться о том, что вокруг столько зла, и бороться с этим злом, коль скоро отпустил ему такой малый срок для жизни на земле. И он смотрел на это как на милость, ниспосланную ему в награду за добродетели матери; видя, что страдание, точно кара, неотделимо от людских пороков, он благодарил небо за то, что ему даровано страдание без грехопадения, даровано как некий искус, дабы помочь ему очиститься от скверны первородного греха. И он мыслью устремлялся к иной жизни, погружаясь в тайные мечты. В сущности, то был итог его размышлений над католическими догматами, ну а подробности дорисовывало поэтическое воображение. Ибо следует прямо сказать, что если внутренние побуждения и нравственные устои Кароля были ясны и отчетливы, то его религиозные представления были весьма расплывчаты; и причиной тому было его воспитание, построенное целиком на чувстве и на внушении; трезвая работа ума, доводы рассудка и путеводная нить здравого смысла не принимали тут никакого участия.

Так как он не приобрел никаких систематических и глубоких познаний, то в его взглядах на мир были огромные пробелы, и мать заполняла их по своему разумению, ссылаясь на непостижимую мудрость Господню и на несовершенство человеческого знания. Она и здесь опиралась на католическую религию. Кароль, человек несравненно более молодой и артистичный, нежели его мать, восполнял поэзией недостаток образования; он, можно сказать, населил эту пугающую пустоту романтическими представлениями: ангелы, звезды, величественный полет над безбрежными просторами, неведомая обитель, где его душа найдет успокоение рядом с душами матери и невесты, – вот каким он видел рай. Что же касается ада, то он был не в силах поверить в него, однако, не решаясь отрицать само существование ада, старался не думать о нем. Он чувствовал себя непорочным и был уверен в своем благом жребии. Если бы ему непременно надо было указать, где поместить грешные души, он определил бы прибежищем их мук бурные волны моря, свирепые ураганы горных высот, зловеющий ропот осенних ночей, извечную тревогу. Туманная и пленительная поэзия Оссиана^[6] сказала тут наряду с догматами римско-католической церкви.

Твердая рука прямодушного Сальватора не отваживалась перебирать все струны столь тонкого и замысловатого инструмента. Вот почему он не отдавал себе ясного отчета во всем

том, что было сильного и слабого, огромного и незавершенного, грозного и неповторимого, устойчивого и переменчивого в исключительной натуре друга. Если бы для того, чтобы любить Кароля, Сальватору пришлось проникнуть в его душевные глубины, он бы очень скоро отказался от такой попытки, ибо нужна целая жизнь, чтобы постичь подобных людей; да и тогда после терпеливого изучения удастся лишь нащупать пружины их внутренней жизни. Причина же присущих им противоречий неизменно от нас ускользает.

Однажды, на пути из Милана в Венецию, друзья оказались вблизи какого-то озера; оно сверкало в лучах заходящего солнца, точно алмаз среди зелени.

– Пожалуй, нынче мы дальше не поедem, – сказал Сальватор, заметив на лице князя следы глубокой усталости. – Мы каждый день делаем слишком большие концы, а вчера и вовсе изнемогли, любуясь красотами озера Комо.

– Вот уж о чем я не жалею! – отозвался Кароль. – В жизни не видел более великолепного зрелища. Но остановимся на ночлег где тебе будет угодно, мне все равно.

– Это зависит от твоего состояния. Доедем до ближайшей подставы или сделаем небольшой крюк, чтобы попасть в Изео, селение на берегу вон того маленького озера? Как ты себя чувствуешь?

– Право, не знаю!

– Вечно ты говоришь: «Не знаю!» Просто в отчаяние можно прийти! Тебе нездоровится?

– Я бы не сказал.

– Но ты утомлен?

– Пожалуй, однако не больше, чем всегда.

– Тогда отправимся в Изео; там легче дышится, чем здесь, в горах.

И они покатили к маленькой гавани Изео. В тот день был какой-то местный праздник. Повозки, запряженные поджарыми и низкорослыми, но сильными лошадьми, развозили по домам раздетых девиц, – красивые прически делали их похожими на античные статуи; собранные на затылке волосы были заколоты длинными серебряными шпильками и украшены живыми цветами. Мужчины ехали верхом на лошадях или ослах, некоторые шли пешком. Дорога была запружена веселою толпой; сияющие красотки и молодые люди, слегка возбужденные вином и любовью, громко смеялись и обменивались вольными шутками, несомненно, чересчур вольными для целомудренного слуха князя Кароля.

В любой стране крестьянин, если он не насилует себя и не изменяет своей естественной манере выражаться, отличается острым умом и своеобразием. Сальватор, хорошо владевший местным диалектом, не пропускал ни одного меткого слова, ни одного каламбура и невольно улыбался грубоватым шуточкам, которые разносились над дорогой, в то время как почтовая карета медленно спускалась по крутому склону к озеру. Пригожие девицы в перевитых лентами двуколках, их черные глаза, трепещущие на ветру косынки, дурмящие запахи цветов, закатные лучи солнца, освещавшие эту картину, игривые фразы, свежие звучные голоса – все приводило его в отличное расположение духа, столь характерное для итальянцев. Будь Сальватор один, он бы, не мешкая, ухватил под уздцы какую-нибудь лошадь и проскользнул в повозку, где было особенно много красоток. Однако присутствие друга вынуждало его сохранять серьезность, и, чтобы отвлечься от соблазнов, он стал напевать сквозь зубы. Но уловка эта не удалась: граф тут же обнаружил, что незаметно для самого себя повторяет плясовую мелодию, которую перед тем схватил на лету, – мелодию эту напевали вполголоса юные поселанки, все еще вспоминавшие о празднике.

III

Сальватор сохранял спокойствие до тех пор, пока проехавшая верхом почти рядом с коляской высокая брюнетка не показала ему, пожалуй, слишком уж смело свое крепкое округлое колено, чуть повыше которого красовалась нарядная подвязка. Он не в силах был сдержать возглас восхищения и высунулся из экипажа, чтобы проводить взглядом эту сильную и точечную ногу.

– Она упала? – спросил князь, заметив возбуждение друга.

– Упала? – переспросил юный ветрогон. – Ты о подвязке?

– Какая еще подвязка? Я говорю о женщине, проехавшей верхом. На что ты там смотришь?

– Ни на что, ни на что, – отозвался Сальватор и, не удержавшись, слегка приподнял шляпу, как бы приветствуя прелестную ножку. – В этой стране нельзя не быть учтивым, а потому проще оставаться с непокрытой головой. – Затем, откинувшись в глубь кареты, он пробормотал: – До чего ж красиво: ярко-розовая подвязка с голубой каймой!

Кароль не любил придирается к словам; он промолчал и устремил взор на озеро, – оно сверкало и переливалось красками, куда более великолепными, чем краски на подвязках поселянки.

Сальватор по достоинству оценил молчание друга и, словно желая оправдаться в его глазах, спросил, не поражает ли его красота обитателей здешнего края.

– Пожалуй, – отвечал Кароль, явно желая сделать приятное Сальватору. – Я заметил, что многие местные жители напоминают изваяния. Но ты ведь знаешь, я в том не слишком разбираюсь.

– Ну, с этим я не согласен, ты превосходно чувствуешь красоту, я видел, в какой ты приходил восторг, любуясь античными статуями.

– погоди! Античность античности разнь. Мне нравится прекрасное, безупречное, изысканное, совершенное искусство Парфенона^[7]. Но я не люблю, вернее, меня оставляет равнодушным тяжеловесное римское искусство и слишком подчеркнутые формы времен упадка. Эта страна больше не стремится к идеалу, что и сказалось на ее людях. А все низменное меня мало занимает.

– Как?! Скажи откровенно, неужто красивая женщина не чарует твой взор, хотя бы на мгновение... когда она проходит мимо?

– Тебе хорошо известно, что нет. Почему это тебя удивляет? Ведь я же смирился с тем, что ты сразу загораешься, стоит тебе столкнуться с мало-мальски пригожей женщиной. Ты готов влюбиться в каждую, а между тем та, кому предстоит завладеть твоим сердцем, еще не предстала перед твоими глазами. Без сомнения, та, которую Господь Бог создал для тебя, существует, она тебя ждет, а ты – ты ищешь ее. Вот как я объясняю и твою сумасбродную влюбчивость, и внезапное охлаждение, и все те душевные муки, которые ты именуешь радостями. Что же касается меня, то тебе хорошо известно: в свое время я уже встретил подругу жизни. Тебе хорошо известно, что я узнал ее душу, тебе хорошо известно, что я буду любить ее всегда, хотя она теперь в могиле, как я любил ее, когда она была жива. Она ни на кого не похожа, поэтому никто не может мне ее напомнить, оттого-то я ни на кого не смотрю, никого не ищу, мне незачем любоваться другими женщинами, ибо в моем воображении вечно живет ее образ, исполненный совершенства.

Сальватор хотел было возразить другу; однако побоялся, что Кароль придет в волнение, если затронуть эту тему, и в пылу спора его охватит лихорадочное возбуждение, еще более опасное для него, чем крайняя слабость, вызванная утомлением. Вот почему он удовольствовался тем, что спросил князя, твердо ли тот уверен, что никогда больше не полюбит.

– Даже сам Господь Бог не мог бы сотворить другое столь совершенное создание, как та, кого он по бесконечному милосердию своему предназначил мне, а потому он не позволит, чтобы я впал в заблуждение и поддался соблазну полюбить во второй раз.

– Жизнь, однако, долга! – воскликнул Сальватор, и в тоне его невольно послышалось сомнение. – И в двадцать четыре года не стоит зарекаться.

– Не всякий бывает молод в двадцать четыре года! – возразил Кароль.

Затем он вздохнул, умолк и впал в задумчивость. Сальватор понял, что пробудил в князе мысль о преждевременной смерти, которая отравляла юношу, точно яд. Он сделал вид, будто ничего не заметил, и попытался отвлечь друга, обратив его внимание на очаровательную долину, в глубине которой раскинулось озеро.

В маленьком озере Изео нет ничего величественного, тут все вокруг дышит покоем и свежестью, как в эклоге^[8] Вергилия. Между обступившими его со всех сторон горами и легкой рябью, которую ветерок поднимает у берега, лежит полоса чудесных лугов, буквально усеянных самыми прекрасными полевыми цветами, какие произрастают в Ломбардии. Ковры розового шафрана устилают берега, куда буря никогда не гонит шумную и гневную волну. Легкие незамысловатые суденышки скользят по тихим водам, куда осыпают свои лепестки персиковые и миндальные деревья.

В тот самый миг, когда наши путешественники выходили из экипажа, несколько лодок снималось с якоря, и обитатели прибрежных селений, возвращавшиеся с праздника верхом и в повозках, устремлялись со смехом и песнями в эти лады, которым предстояло совершить круг по озеру и развезти людей по домам. Повозки, битком набитые детьми и шумными девицами, вкатывали прямо на большие барки; молодые поселяне по двое прыгали в ялики и хватались за весла, побуждая друг друга плыть наперегонки. Чтобы не простудить во время переправы дымящихся от пота лошадей, их по местному обычаю предварительно окунали в ледяную воду у берега, и смелые, сильные животные, казалось, получали огромное удовольствие от такого купания.

Кароль опустил на пень возле самой воды, но любовался он не этой оживленной и живописной сценой, а смутно синевшими на горизонте цепями Альпийских гор. Сальватор пошел на постоянный двор заказывать комнаты.

Однако он вскоре вернулся весьма раздосадованный: помещение оказалось премерзкое, грязное, душное, до отказа набитое хмельными крестьянами, которые ссорились между собой. Не было никакой возможности отдохнуть здесь после утомительного путешествия, длившегося целый день.

Князь, хотя он особенно страдал после дурно проведенной ночи, обычно относился к такого рода неудобствам со стоической беззаботностью. Однако на сей раз он сказал другу с какой-то необъяснимой тревогой:

– Я предчувствовал, что нам не следовало приезжать сюда на ночлег.

– Предчувствие, связанное со скверным постоянным двором! – вырвалось у Сальватора, который из-за постигшей его неудачи злился на самого себя, а потому и на ближнего своего. – Право, когда речь идет о том, чтобы избежать насекомых в грязном заезжем доме и дурных запахов от скверной кухни, у меня, признаюсь, не возникают ни смутные предчувствия, ни таинственные предзнаменования.

– Не насмехайся надо мною, Сальватор, – мягко попросил князь. – Речь идет не об этих пустяках, и ты прекрасно знаешь, что я мирюсь с такими неудобствами легче, чем ты.

– Но, быть может, именно из-за тебя мне так трудно с ними мириться!

– Я знаю это, милый Сальватор, не терзайся же и уедем отсюда!

– То есть как уедем?! Мы голодны, а тут по крайней мере найдутся превосходные форели, они уже, верно, прыгают в кипящем масле. Я не так легко падаю духом, сначала поужинаем, попросим накрыть для нас стол на свежем воздухе под теми вон рожковыми деревьями. Затем я

обойду селение и, конечно, разыщу какой-нибудь дом, где будет чище, чем на постоялом дворе, а на худой конец найду для тебя комнату у местного лекаря или стряпчего! Уж священник-то здесь имеется!

– Друг мой, ты не желаешь меня понять и занимаешься пустяками... Ты-то ведь знаешь, что я не капризен, не правда ли? Так вот, один раз прости мне причуду... Я тут дурно себя чувствую; здешний воздух теснит мне грудь, а озеро слепит. Быть может, поблизости растет какая-нибудь пагубная для меня ядовитая трава... Давай заночуем где-нибудь в другом месте. У меня и в самом деле тягостное предчувствие, не следовало нам приезжать сюда! Когда лошади сворачивали с дороги, ведущей в Венецию, и взяли влево, мне почудилось, будто они заартачились: ты этого не заметил? Словом, не думай, что я помешался, не гляди на меня с таким испуганным видом; я покоен и, если ты желаешь, готов безропотно встретить новые беды, но для чего бросать вызов судьбе, когда еще не поздно их избежать?

Сальватора Альбани не на шутку встревожил серьезный и проникновенный тон Кароля, когда тот произносил эти странные слова. Он считал своего друга более слабым, чем это было на самом деле, и вообразил, что князь серьезно заболевает и чувствует это по скрытому недомоганию. Однако он не думал, что место, где они находились, играет тут какую-либо роль, потому что окружающая природа, люди, небо, деревья и цветы были поистине чудесны. Тем не менее он не хотел противиться капризу друга, но спрашивал себя, стоит ли после целого дня пути, да еще на голодный желудок, добираться до следующей подставы, не ускорит ли это вспышку болезни у князя.

Кароль заметил нерешительность Сальватора и вспомнил о том, о чем тот уже успел позабыть, – вспомнил, что граф буквально умирает с голоду. Тогда, отбросив прочь сомнения и заставив свою тревогу умолкнуть, он объявил, что сам тоже голоден и что, прежде чем покинуть Изео, им следует поужинать.

Слова эти несколько успокоили Сальватора. «Раз уж Кароль думает о еде, – решил он, – стало быть, ему не угрожает близкая болезнь; возможно, что его печальные мысли, хотя сам он и не отдает себе в этом отчета, всего лишь результат сильного голода, проявление нравственной и физической усталости. Поедим, а там видно будет!»

Ужин оказался гораздо лучше, чем можно было ожидать, судя по внешнему виду постоянного двора; им накрыли стол в саду, в тенистой беседке, увитой виноградом, где не так слепил глаза блеск озера; Кароль и в самом деле почувствовал себя спокойнее. Благодаря свойственной ему быстрой смене настроений он поел с удовольствием и думать забыл о необъяснимом страхе, который владел им всего несколько минут назад.

Когда хозяин постоянного двора принес кофе, Сальватор стал расспрашивать его о местных жителях и с огорчением обнаружил, что тот никого не знает и что, видимо, нет никакой возможности найти здесь пристанище в каком-либо доме, где было бы чище и спокойнее, чем на постоялом дворе.

– Ах, была у меня в здешних местах добрая приятельница, – сказал он со вздохом, – и она столько рассказывала мне о своих родных краях, что это, быть может, невольно повлияло на меня, а потому мне и пришла в голову фантазия остановиться тут на ночлег. Но теперь я вижу, что милая моя Флориани сохранила о местах, где она выросла, поэтическое воспоминание, весьма далекое от действительности. Впрочем, так оно и бывает со всеми нашими воспоминаниями детства.

– Ваше сиятельство, как видно, говорит о знаменитой Флориани, которая прежде была бедной крестьянкой, а потом разбогатела и прославилась на всю Италию, – вступил в разговор хозяин постоянного двора, услышавший слова графа Альбани.

– Вот именно! – воскликнул Сальватор. – Быть может, вы прежде знавали ее, потому что, сколько мне известно, она не возвращалась в родные края с тех пор, как покинула их в ранней юности?

– Виноват, ваша милость. Она вернулась сюда вот уже, почитай, год, да и сейчас здесь. Родные ей всё простили, и теперь они живут вместе, душа в душу... Видите, вон там, на другом берегу озера, хижина, в ней-то она и выросла, а совсем рядом – красивая вилла, она ее не так давно приобрела. Теперь это одно общее владение, с парком и лугами. Да, славное получилось поместье, и она заплатила за него звонкой монетой старику Раньери, может, вы и его знаете?.. Этот скряга – отец ее первого возлюбленного, того самого, что увез синьору отсюда.

– Вам известно, или вы полагаете, будто вам известно, гораздо больше, чем мне, о романтических похождениях юной синьоры Флориани, – сухо заметил Сальватор. – Я же знаю о ней только одно: она самая умная, самая лучшая и самая достойная из всех женщин, каких я когда-либо встречал. Стало быть, она здесь! Слава богу! Вот чудесная новость! Мы спасены, Кароль, попросим у нее гостеприимства, и если ты хочешь сделать мне приятное, то не станешь чиниться и познакомишься с милой моей Флориани. Подумать только, а в Милане понятия не имеют, что она в этих краях! Мне говорили, что я найду ее в Венеции либо в окрестностях...

– Она живет здесь как затворница, – вставил трактирщик, – такая ей в голову взбрела фантазия. Но ее все тут хорошо знают, потому как она делает много добра, она ведь такая добрая, наша синьора!

– Скорей, скорей лодку! – воскликнул Сальватор, чуть не прыгая от радости. – Вот славный сюрприз! А у меня-то даже не было счастливого предчувствия, что я вновь встречу ее здесь!

Эти слова заставили Кароля вздрогнуть.

– Предчувствия действуют на нас без нашего ведома и ведут нас, куда им вздумается, – заметил он.

Однако пылкий граф Альбани даже не слушал его. Он суетился, кричал, велел лодочнику пристать к берегу, бросил в его суденышко чемодан, наказал слуге позаботиться об экипаже и о клади, запретил ему отлучаться с постоялого двора в Изео и увлек юного князя на зыбкую скамью челнока.

Сальватору так не терпелось прибыть на место, а природная живость характера в эти минуты до такой степени овладела им, что он отбросил привычную осторожность и боязнь потревожить погруженного в печальное раздумье друга: он схватил кормовое весло и принялся грести вместе с лодочником, напевая при этом как птица и рискуя в безудержном порыве шумной веселости перевернуть суденышко.

IV

Лишь посреди озера Сальватор заметил, что лицо Кароля еще больше побледнело. Он бросил руль и, устроившись рядом с другом, сказал:

– Любезный князь, боюсь, ты недоволен мною! Тебе не хотелось заводить это новое знакомство... Но что делать? В дороге приходится порою поступаться своими привычками. Я обещал не насиловать тебя в этом отношении... И все позабыл... я так обрадовался!

– Я все прощаю тебе, все приемлю, – спокойно отвечал князь. – Дружба питается жертвами. Ты мне принес их столько, что и я обязан что-то для тебя сделать... И все-таки... Я надеялся, что ты никогда не введешь меня в дом женщины сомнительного поведения!

– Замолчи, замолчи! – воскликнул Сальватор, с силой сжимая руку Кароля. – Не употребляй слов, которые ранят и уязвляют! Если бы не ты, а другой осмелился так о ней говорить...

– Прости меня, – продолжал Кароль, – я и не подумал, что она была... что она, должно быть, была твоей возлюбленной!

– Моей, моей возлюбленной! – с живостью подхватил Сальватор. – Ах, я бы очень этого хотел! Но в ту пору она любила другого, да и кто знает, приглянулся бы я ей или нет, будь

она даже свободна? Нет, Кароль, я никогда не был ее возлюбленным, а так как я был другом человека, которого она любила, когда мы с ней познакомились (это был некий Фоскари, очень славный юноша!), и знал, какая она порядочная и преданная женщина, то я даже в мыслях не позволял себе мечтать о ней. О, если бы она сейчас жила одна, как мне об этом говорили в Милане... и если бы она захотела меня полюбить!.. Но нет! Погоди, не хмурься: не думаю, что ныне я вспылал бы к ней страстью. Уж очень давно я ее не видел. Может, она уже и не так хороша собой... К тому же мое сердце и чувства привыкли оставаться спокойными в ее присутствии. Пришлось бы сделать слишком большое усилие над собою, чтобы от привычного уважения и дружеской симпатии... Впрочем, я не лицемер и зарекаться не стану!.. Когда мужчина питает к женщине безграничную дружбу... Но, по всей вероятности, если она и живет одна, то, верно, любит кого-нибудь, кто сейчас в отсутствии. Быть не может, что такое возвышенное существо не испытывает любви, ну а тогда я не допущу и тени дурной мысли по отношению к ней. Ни за что на свете не соглашусь я утратить ее дружбу!..

– После столь хитроумных рассуждений, – заметил князь с грустной улыбкой, – я вижу, что мне угрожает опасность потерять тебя и мое дурное предчувствие, возможно, не просто плод воображения.

– Твое предчувствие! Опять ты об этом! А я и забыл. Так вот, если оно говорит тебе, что я останусь у некоей прелестницы и позволю тебе уехать одному, оно бессовестно лжет. Нет, нет, Кароль, твоё здоровье, твои желания, наше совместное путешествие – прежде всего! Будь у твоего предчувствия физиономия, я бы влепил ему увесистую оплеуху!

Друзья еще немного поговорили о Флориани. Князь впервые приехал в Италию, он никогда не видел этой женщины и был только наслышан о ее таланте и громких любовных похождениях. Сальватор говорил о ней с восторгом; однако никогда не следует полагаться на отзывы друзей, и потому мы сами сообщим читателю то, что ему пока надлежит знать о нашей героине.

Лукреция Флориани была актриса, одаренная чистым, возвышенным и в меру трагическим талантом; играя хорошо написанные роли, она неизменно пробуждала глубокое волнение и сочувствие в зрителях; она была изысканной и непревзойденной в пантомиме, в искусных приемах, при помощи которых актер часто заставляет оценить по достоинству истинного поэта и вызывает снисхождение к поэту неглубокому. Она снискала себе немалую славу не только как актриса, но и как автор, ибо любовь к своему искусству была у нее так сильна, что она даже отваживалась сочинять пьесы для театра; сперва она писала их вместе с некоторыми из своих образованных друзей, а затем и одна, повинувшись собственному вдохновению. Пьесы эти шли с успехом не потому, что были так уж хороши, а потому, что были написаны просто, дышали искренним чувством, отличались живым диалогом, а главное – потому, что она играла в них сама. Имя сочинителя никогда не называли после представления, но тайна эта была весьма прозрачна, и зрители сами чествовали ее как автора, награждая венками и аплодисментами.

В ту пору и в Италии газетная критика еще не получила большого развития. У Флориани было много друзей, и все относились к ней благожелательно. В различных городах страны публика, сидевшая в креслах, встречала ее дружелюбной и шумной овацией. Лукрецию любили; и если авторская слава доставалась ей, по всей вероятности, из доброго к ней отношения, то одно по крайней мере бесспорно: она заслужила эту привязанность и благосклонность своим характером. Трудно было сыскать другую более бескорыстную и щедрую, более искреннюю и более скромную актрису. Уж не помню где именно, кажется, в Вероне или в Павии, Флориани взялась руководить театром и набрала собственную труппу. Она заслужила уважение всех тех, кто имел с нею дело; люди, нуждавшиеся в поддержке, боготворили ее, а публика вознаграждала по достоинству. Дела у нее шли весьма успешно, но как только Лукреция увидела, что состояние ее упрочено, она покинула сцену, хотя талант ее был в самом расцвете и она по-прежнему очаровывала зрителей. Несколько лет она прожила в Милане, в кругу артистов и литераторов. Дом Лукреции славился радушием, а ее поведение было исполнено достоин-

ства и вызывало такое уважение (это отнюдь не значит, что она всегда вела себя благонаправно), что светские женщины охотно посещали ее и испытывали к ней не только симпатию, но даже известное почтение.

Однако она внезапно покинула круг друзей, Милан и поселилась на берегу озера Изео, где мы с нею вскоре встретимся.

Скрытой пружиной тех побуждений, которые заставляли Флориани круто менять образ жизни – то отдавать все свои силы развитию таланта драматической актрисы и драматического писателя, то испытывать внезапное отвращение к свету и шумной молве, то принимать на себя руководство театром, то погружаться в безмятежную сельскую жизнь, – была, можете не сомневаться, непрерывная цепь любовных историй. Я не стану сейчас вам о них рассказывать – это было бы слишком долго и к тому же не имеет прямого отношения к действию. Не стану я также терять время, заставляя вас постигать все нюансы ее характера, столь же ясного и легко доступного пониманию, сколь переменчивым и непостижимым был характер князя Кароля. Вы по собственному разумению оцените эту первозданную натуру, чьи достоинства и недостатки разгадать легко. Конечно, я не стану скрывать от вас ничего, что касается Флориани, из преувеличенной стыдливости или боязни вам не понравиться. О том, какой она была прежде и какой стала позднее, она сама рассказывала каждому, кто спрашивал ее об этом из дружеских побуждений. Если же кто-нибудь интересовался этим из чистого любопытства либо из стремления позлословить на ее счет, то, желая проучить человека за эту прикрытую доброжелательством дерзость, она не отказывала себе в удовольствии скандализировать нескромного своей вызывающей откровенностью.

Мы не могли бы характеризовать ее лучше, чем она сама это сделала, отвечая однажды на расспросы некоего старика маркиза:

«Вы находитесь в известном затруднении, – говорила она ему на превосходном французском языке, – подыскивая принятое в вашем кругу определение, которое можно было бы применить к такой женщине, как я. Назовете ли вы меня куртизанкой? Не думаю, ибо я всегда одаривала своих возлюбленных и ничего не принимала даже от друзей. Своим благополучием я обязана исключительно собственному труду, и тщеславие никогда не ослепляло меня, а жадность не уводила с верного пути. Все мои возлюбленные были люди не только бедные, но и безвестные.

Назовете ли вы меня женщиной любово-страстной? Но я никогда не предавалась страсти, если не испытывала сердечной склонности, и не понимаю наслаждения без сердечной привязанности.

Наконец, можно ли считать меня женщиной легкого поведения, дурных нравов? Сначала надобно узнать, что вы под этим подразумеваете. Я никогда не стремилась к скандалу, хотя, быть может, и вызывала его, сама того не желая и не подозревая об этом. Я никогда не любила двух мужчин одновременно, всегда – и помыслами, и на деле – я принадлежала только одному человеку все то время, пока продолжалась моя страсть к нему. Переставая любить, я его не обманывала. Я сразу же порывала с ним. Правда, охваченная любовным восторгом, я клялась в вечной любви; но, давая такие обеты, я и сама в них искренне верила. Всякий раз, когда я любила, то любила всем сердцем и думала, что люблю так в первый и в последний раз.

И все же вы не решитесь назвать меня порядочной женщиной. А сама я в этом уверена. Даже перед Богом я не побоюсь назвать себя женщиной добродетельной: однако я знаю, что для вас и для общества утверждение это прозвучит почти кощунственно. Но меня это нимало не заботит; я предоставляю свету по его разумению судить о моей жизни; при этом я не возмущаюсь им, я даже нахожу, что законы, которых он придерживается, вообще-то правильны, но не признаю, что они применимы ко мне.

Разумеется, вы полагаете, что я весьма высокого мнения о себе и что во мне немало гордыни? Согласна. Я очень горжусь собою, но во мне нет и следа тщеславия; обо мне могут

говорить самые дурные вещи, но меня это нисколько не оскорбляет, ничуть не задевает. Да, я не подавляла своих страстей. Хорошо ли я поступала или плохо, но я уже наказана либо вознаграждена самими страстями. Я непременно должна была утратить доброе имя, я была к этому готова и принесла свою репутацию в жертву любви, но это касается только меня одной. По какому праву люди, осуждающие своих ближних, утверждают, будто чужой пример опасен? Ведь с той минуты, когда виновный осужден, он уже подвергся каре. Стало быть, он больше не может вредить другим, ибо те, кто захотел бы ему подражать, предупреждены понесенным им наказанием».

Кароль фон Росвальд и Сальватор Альбани вышли на берег у самого входа в парк, возле хижины, на которую им указал хозяин постоянного двора в Изео. Именно в этой хижине родилась Лукреция Флориани, и в ней до сих пор еще жил ее отец, старый седовласый рыбак. Никакими силами невозможно было убедить его покинуть это бедное жилище, в котором он провел всю свою жизнь и к которому привык; однако он согласился, чтобы хижину поправили, благоустроили, укрепили и оградил от волн простой, но красивой террасой, увитой цветами и кустарником. Старик сидел на пороге среди ирисов и гладиолусов, он спешил воспользоваться последними минутами угасавшего дня и чинил свои сети; ибо хотя отныне существование его было упрочено, а дочь заботливо следила за тем, чтобы не только все его потребности были обеспечены, но чтобы сразу же исполнялись его редкие прихоти, он сохранил скромные привычки и вкусы расчетливого крестьянина и не выбрасывал своих снастей до тех пор, пока они могли хоть как-то служить ему.

V

Кароль бросил взгляд на красивое, чуть суровое лицо старика, поклонился и хотел пройти мимо, даже не подумав, что тот может оказаться отцом Лукреции Флориани. Однако Сальватор остановился, чтобы полюбоваться живописной хижинкой и старым рыбаком с седой, слегка пожелтевшей на солнце бородой: уж очень он походил на покрытое тинной божество с берегов озера! В голове графа смутно пронеслись воспоминания, которым Лукреция не раз предавалась в его присутствии со слезами на глазах и красноречием, рожденным раскаянием; в строгих чертах старика он вдруг уловил некоторое сходство с чертами молодой и красивой женщины; Сальватор снова поклонился и пошел к расположенной шагах в десяти калитке парка, намереваясь открыть ее; на ходу он то и дело оборачивался и смотрел на рыбака, который с настороженным и недоверчивым видом провожал его глазами.

Когда старик увидел, что молодые люди и в самом деле собрались проникнуть во владения Флориани, он поднялся с места и не слишком приветливо крикнул, что входить в парк нельзя, тут, мол, не публичное гулянье.

– Мне это хорошо известно, милейший, – ответил Сальватор, – но я ведь близкий друг синьоры Флориани и приехал повидать ее.

Старик подошел ближе, внимательно посмотрел на него и сказал:

– Я вас не знаю. Вы, видать, не здешний?

– Я из Милана и, как уже сказал, имею честь принадлежать к числу добрых знакомых синьоры. Покажите-ка, где тут можно войти?

– Нет уж, так просто вы не войдете! Вас ждут? Вы уверены, что вас захотят принять? Как вас величают?

– Я граф Альбани. А вы, милейший, не скажете ли мне свое имя? Вы, часом, не тот ли почтенный человек, которого зовут Ренцо... или Беппо... или Чекко Менапаче?

– Да, я и есть Ренцо Менапаче, – отвечал старик, снимая шляпу, как всегда поступают простолюдины в Италии, которые преклоняются перед громкими титулами. – А откуда вы меня знаете, синьор? Ведь я-то вас никогда и в глаза не видал.

– Я вас тоже. Но ваша дочь похожа на вас, к тому же мне известно ее настоящее имя.

– Кстати, гораздо более красивое, чем то, какое они ей придумали! Но теперь это уже вошло в привычку, и нынче ее все так кличут! Стало быть, вы хотите видеть синьору? Вы для того и приехали?

– Вот именно, с вашего позволения. Надеюсь, она нас хорошо отрекомендует и вам не придется жалеть, что вы отворили нам калитку. Полагаю, ключ у вас есть?

– Ключ-то у меня найдется, и все же, ваша милость, открыть я вам не могу. Этот молодой господин тоже с вами?..

– Да, это князь фон Росвальд, – сказал Сальватор, который знал, как действуют на простых людей громкие титулы.

Старик Менапаче отвесил еще более низкий поклон, однако лицо его при этом оставалось холодным и замкнутым.

– Милостивые господа, – сказал он, – соблаговолите войти ко мне в дом и подождать там, а я пошлю слугу предупредить мою дочь; не могу я заранее вам пообещать, что она захочет принять вас.

– Ничего не поделаешь, – заметил Сальватор, обращаясь к князю. – Нам придется покориться и обождать. Как видно, Флориани решила теперь избегать людей; правда, не сомневаюсь, что нам будет оказан радушный прием, а пока пойдем осмотрим хижину, где она родилась и провела детство. Должно быть, жилище это очень любопытно.

– И впрямь весьма любопытно, что сама она живет в роскошном доме, а отца своего оставляет под соломенной кровлей, – едко заметил Кароль.

– Виноват, ваша светлость, – вмешался старик и к величайшему удивлению молодых людей повернулся к ним с недовольным видом.

Дело в том, что они привыкли говорить друг с другом по-немецки, и Кароль произнес свою фразу на этом языке.

– Прошу меня извинить, – продолжал Менапаче, – только я услышал ваши слова. У меня всегда был тонкий слух, именно потому я и прослыл лучшим рыбаком на этом озере; не говорю уж о глазах, они у меня всегда были зоркие, да и сейчас еще я на них не жалеюсь.

– Стало быть, вы понимаете по-немецки? – осведомился князь.

– Я долго служил в солдатах, несколько лет провел в вашей стране. Говорить на вашем языке я могу только очень плохо, хотя до сих пор еще немного его понимаю, так что ответить вам дозволюте на моем родном наречии. Я не живу в роскошном доме дочери потому, что люблю свою хижину, а она не живет со мной в этой хижине потому, что помещение тут тесное и мы стали бы только мешать друг другу. К тому же я привык быть один и с трудом терплю возле себя даже слугу, которого она вздумала для меня нанять; она, видите ли, говорит, что в мои лета человек, дескать, нуждается в посторонней помощи. Хорошо еще, он славный малый, я сам его выбрал и учу ремеслу рыбака. А ну-ка, Биффи, прерви ненадолго свой ужин, дружок, и сходи доложи синьоре, что два приезжих господина хотят ее видеть. Будьте добры, милостивые господа, назовите еще раз свои имена.

– Моего имени будет достаточно, – ответил Альбани и вместе с Каролем пошел за стариком Менапаче к его жилищу.

При этих словах он достал из бумажника визитную карточку и вручил ее молодому крестьянину, состоявшему в услужении у рыбака. Биффи пустился со всех ног, как только получил от хозяина ключ, всегда висевший у того на поясе.

– Видите ли, милостивые господа, – обратился Менапаче к своим неожиданным гостям, придвигая им грубые крестьянские стулья, которые он сам сколотил и оплел прибрежным камышом, – зря вы думаете, будто дочка мало обо мне заботится. Нет, что до помощи, любви и ухода, то я ею нахвалиться не могу. Да только, понимаете, в мои годы трудно менять свои привычки; вот почему все деньги, что она присылала, когда в театре служила, я употреблял с

пользой, а не тратил на хорошее жилье, новую одежду и разные яства. Все это мне не по вкусу. Я прикупал землю, потому как это дело хорошее: земля останется и перейдет к ней, когда меня уже в живых не будет. Других детей у меня нет. Так что дочке не придется раскаиваться в том, что она делала для меня. Делиться со мной своим богатством – ее долг, и она свято его исполняла; а мой долг приумножать эти деньги, выгодно их помещать и оставить ей, умирая. Я всю жизнь был рабом долга.

Узкий и корыстолюбивый взгляд старика на взаимоотношения с собственной дочерью вызвал улыбку на лице Сальватора.

– Готов биться об заклад, – сказал он, – что ваша дочь не ведет таких расчетов с вами и ничего не смыслит в вашем способе сберегать деньги.

– Она, бедняжка, и вправду ничего в этом не смыслит, – со вздохом подхватил Менапаче. – И если б я ее слушался, то все бы проедал, жил бы как князь, как живет она сама, жил бы одной компанией с нею и со всеми, кому она пригоршнями швыряет деньги. Ничего не поделаешь, мы с ней в этих делах никак не сталкиваемся. Она у нас добрая, меня любит, по десять раз на дню приходит проведать и приносит все, что, по ее разумению, может доставить мне удовольствие. Если я раскашляюсь или там голова у меня заболит, она проводит возле моей постели ночи напролет. Но при всем при том у нее есть один очень большой недостаток – она вовсе не такая хорошая мать, как мне хотелось бы!

– Как? Она недостаточно хорошая мать? – изумился Сальватор, который с трудом сохранял серьезность, слушая рассуждения скаредного крестьянина. – Я видал ее в кругу семьи и полагаю, что вы ошибаетесь, синьор Менапаче!

– Ну, коли вы считаете, что хорошая мать семейства должна ласкать, холить, развлекать да портить своих детей, и ничего больше, тогда другое дело; да только велика ли радость, когда я вижу, что им ни в чем нет отказа, что девчонок наряжают, как принцесс, в шелковые платья, а мальчишке уже позволяют заводить собак, лошадей, покупают ему лодку и ружье, как большому! Они все хорошие ребята, спору нет, и собой пригожие, да только не резон давать им все, чего ни попросят, как будто это все даром достается! Уж я вижу, что в ее доме проживают никак не меньше тридцати тысяч лир в год, куча денег уходит на забавы да на учителей, а там еще, глядишь, книги, музыка, прогулки, подарки и всякие иные причуды. А еще сколько нищим раздадут! Просто беда! Все убогие, все бродяги, какие только есть в округе, протоптали дорожку в дом, куда они при жизни старика Раньери, прежнего владельца имения, и носа не казали! Он-то хорошо понимал свой интерес, рачительный был хозяин, а вот моя дочь, если и дальше не станет меня слушать, вконец разорится!

Скупость старика вызвала глубокое отвращение у князя, Сальватора же она скорее забавляла, нежели возмущала. Ему хорошо была знакома натура крестьян: жажда накопительства, суровость даже в отношении самих себя, стремление сколотить капиталец, ни на что не тратить доходы, страх перед будущим, который бедные и трудолюбивые старики испытывают до гроба. Однако и его слегка передернуло, когда он услышал, что Менапаче добром поминает старика Раньери, который сыграл такую дурную роль в жизни Флориани.

– Если память мне не изменяет, – сказал граф, – этот Раньери, судя по рассказам Лукреции, был просто мерзкий скряга. Он проклял своего сына и угрожал лишить его наследства только за то, что тот хотел жениться на вашей дочери!

– Он и вправду причинил нам немало горя, – невозмутимо подтвердил старик, – но чья в том вина? Во всем повинен его сын, сумасброд, надумавший жениться на бедной крестьянке. Ведь в ту пору у Лукреции не было ни гроша; крестная мать, госпожа Раньери, обучила ее разным бесполезным вещам – музыке, чужим языкам, чтению стихов...

– Однако все это впоследствии принесло ей немало пользы! – перебил его Сальватор.

– Это-то и погубило ее! – возразил упрямый старик. – Уж лучше бы мамаша Раньери, которая ничего не могла дать моей дочке на обзаведение, не привязывалась к ней так сильно,

тогда бы Лукреция осталась крестьянкой, дочерью честного рыбака, какой она была в детстве, и женой рыбака, какою стала бы потом. Сидела бы себе дома да чинила сети. Потому как был у меня один человек на примете, имелся у него хороший дом, две большие лодки, сочный луг, коровы... Да, да! Пьетро Манджафоко был завидный жених, и он бы непременно ее за себя взял, послушайся она разумных советов. А вместо того крестная мать взяла Лукрецию к себе, выучила разным разностям, холила ее, вот тут-то на всех и посыпались беды. Меммо Раньери, хозяйский сынок, без памяти влюбился в Лукрецию, а так как жениться ему не позволили, он и выкрал ее. Вот почему дочка разлучилась со мною, и по этой причине я двенадцать лет кряду слышать о ней не хотел.

– Это не мешало ему принимать деньги от дочери! – сказал Сальватору Кароль, совсем позабыв, что рыбак понимает по-немецки.

Однако это замечание ничуть не задело старика.

– А как же, конечно, принимал и помещал их с толком да с выгодой, – отозвался он. – Я-то знал, что она живет на широкую ногу и в один прекрасный день сама, верно, обрадуется, когда, промотав все свои денежки, узнает, что есть на что жить. Подумать только, сколько денег она загребала! Говорят, миллионы! А сколько раздала, сколько по ветру пустила? Эх, такой характер, как у нее, – сущее наказание!

– Да, да, она – просто чудовище! – со смехом воскликнул Сальватор. – И все-таки, думается, старый Раньери плохо рассчитал, когда не захотел женить на ней своего сына. Этот скряга не стал бы противиться их браку, угадай он вовремя, что юная поселанка благодаря своему таланту станет зарабатывать миллионы!

– Конечно, не стал бы, – с величайшим спокойствием подтвердил Менапаче, – да как ему было угадать? Противясь неравному браку, старик был в своем праве, у него на то были веские резоны, всякий бы так поступил, даже я сам, окажись я на его месте!

– Потому-то вы, видно, не браните его и, должно быть, оставались с ним в самых добрых отношениях; а ведь его сын соблазнил вашу дочь, так как не мог вырвать согласие у старого скупердя.

– Да, старый скупердяй, *avarone*², как его называли в наших краях, был крут, не спору; но вообще-то он был человек справедливый, и плохим соседом его не назовешь. Я никогда не видал от него ни хорошего, ни дурного. Поняв, что я не простил дочь, он простил мне, что я довожусь ей отцом. А что до сына, то его старик простил, когда тот бросил Лукрецию и нашел себе подходящую жену.

– А вы? Вы тоже простили этого сына, достойного отпрыска своего отца?

– А что его-то прощать? Ведь и он, что ни говори, был в своем праве; он дочке письменного обязательства не давал. Вольно ей было верить его любви; и потом, когда он ее оставил, они были в долгу как в шелку: ведь поначалу, когда она взялась театром управлять, дела у нее шли из рук вон плохо... А ко всему, он ведь уже помер, и Бог ему судья! Простите меня, милостивые господа! Я оставил сети у самой воды, а коли ночью начнется гроза, их может унести. Надо бы оттащить их подальше от берега. Сети еще добрые, вполне годятся для ловли. Я доставляю рыбу к столу моей дочки, а она мне за нее платит. Задаром-то я ничего не даю! Я ей сказал: «Ешь на здоровье... и ребята пусть едят, для них же лучше – они потом найдут эту рыбу в моем кошельке!»

VI

– Какая низменная натура! – воскликнул Кароль, когда Менапаче отошел.

² Скряга (*ит.*).

– Обычная человеческая натура в ее неприкрытой наготе, – ответил Сальватор. – Это правдивый образ человека, обреченного на упорный труд. Предусмотрительность без образования, честность без утонченности, здравый смысл, чуждый идеалу, порядочность и рядом – алчность, унылая и непривлекательная.

– Ну, это далеко не все, – возразил князь. – На нем лежит печать отвратительной безнравственности, и я не постигаю, как синьора Флориани может жить, постоянно видя перед глазами такого отца.

– Когда Лукреция приехала, чтобы вновь свидеться с отцом, она, думаю, не ожидала встретить в нем столько презренной прозы. Благородная женщина хранила в душе поэтическое воспоминание о старике отце и о хижине, крытой камышом; она, должно быть, стремилась к мирной сельской жизни, мечтала о возврате к патриархальной невинности и о трогательном примирении со старцем, который некогда проклял ее, но чье имя она всегда упоминала со слезами на глазах. Однако, быть может, Лукреция выказала еще больше добродетели, оставшись тут, чем приехав сюда: она, без сомнения, все понимает, и тем не менее терпит и продолжает любить.

– Понимать и терпеть несвойственно душам утонченным; будь я на ее месте, я бы осыпал старого скупца благодеяниями, но не мог бы жить рядом с ним, не испытывая невыносимых мук; одна только мысль о таком несчастье меня возмущает и удручает.

– Но почему ты видишь в нем столько пороков? Ему чуждо стремление к роскоши, равно как и к щедрости, которая у людей добрых идет рука об руку с благосостоянием. Он слишком стар и не способен постичь, что иметь и раздавать – понятия нераздельные. Он копит деньги, которые получает от дочери, чтобы сохранить их для внуков.

– Стало быть, у нее есть дети?

– В свое время их было двое, а теперь, быть может, и больше.

– А ее муж?.. – спросил Кароль, немного поколебавшись. – Где он?

– Насколько мне известно, она никогда не была замужем, – спокойно ответил Сальватор.

Князь умолк, и Альбани, угадавший, о чем он думает, не знал, как отвлечь друга от этой деликатной темы. Разумеется, нелегко было найти приличествующее оправдание столь прискорбному факту.

– Когда человек плывет в жизни по течению, – снова заговорил Кароль после недолгого молчания, – это объясняется тем, что в ранней юности ему не привили должных понятий о нравственности. Да и какие понятия могла она почерпнуть у отца, который лишен даже чувства чести и, спокойно взирая на беспорядочную жизнь дочери, только прикидывал, сколько денег она зарабатывает и тратит?

– Таковы люди, когда видишь их вблизи, такова жизнь без прикрас! – философски заметил Сальватор. – Когда милая Флориани рассказывала мне о своем первом заблуждении, она во всем винила лишь себя и даже не вспоминала о недостатках отца, хотя они, вероятно, были невыносимы и могли послужить ей оправданием. Говоря о нем, она сожалела, что старик так неумолим в своем гневе, и одновременно хвалила его за это. Она приписывала такую непреклонность его почти античным добродетелям и достойным уважения предрассудкам. Помнится, она говорила, что, освободившись наконец от пут суетной жизни и от цепей любви, она возвратится в родительский дом, бросится к ногам старика отца и очистится, живя рядом с ним. Бедная грешница! Она нашла себе спасителя, вовсе недостойного столь возвышенного раскаяния, и разочарование, которое она испытала, должно быть, одно из самых горьких разочарований в ее жизни. Люди с благородным сердцем все приукрашивают. Их удел постоянно ошибаться.

– Значит, люди с благородным сердцем могут успешно противиться низменным проявлениям жизни? – спросил Кароль.

– И по тому, какой они при этом терпят урон, можно определить степень их величия.

– Человек по природе своей слаб. Вот почему, думается, люди, по-настоящему приверженные высоким нравственным правилам, не должны подвергать себя опасности... Скажи, Сальватор, ты твердо решил пробыть здесь несколько дней?

– Я этого не говорил; если хочешь, мы не останемся тут и часа.

Охотно уступая Каролю, Сальватор всегда добивался от друга того, чего хотел, особенно в вопросах житейских, ибо князь был великодушен и приносил свои вкусы в жертву тому убеждению, что человек должен быть покладистым: он следовал этому правилу даже в отношениях с самыми близкими людьми.

– Я ни в чем не хочу тебе перечить, – сказал Кароль, – не хочу ни в чем ограничивать тебя, одна мысль причинить тебе огорчение для меня невыносима. Но обещай по крайней мере, Сальватор, что ты сделаешь усилие над собой и постарайся не влюбиться в эту женщину.

– Охотно обещаю, – со смехом отвечал Альбани. – Но мое обещание улетит, как пух по ветру, если мне назначено судьбою стать ее возлюбленным после того, как я столько времени был ей другом.

– Ты ссылаешься на судьбу, – возразил Кароль, – а ведь все в твоих собственных руках! Только разум и воля могут тебя уберечь.

– Ты рассуждаешь, точно слепец о красках, Кароль. Любовь сокрушает все преграды на своем пути, как море сокрушает дамбы. Я могу тебе поклясться, что не останусь здесь дольше, чем на одну ночь, но не могу поручиться, что не оставлю тут своего сердца и помыслов.

– Так вот почему я чувствую себя таким слабым и разбитым нынче вечером! – воскликнул князь. – Да, друг, я все время возвращаюсь к тому суеверному страху, который овладел мною, как только я еще издали бросил взгляд на это озеро! Когда мы сели в лодку, доставившую нас сюда, мне показалось, что мы вот-вот пойдем ко дну, а ты между тем знаешь, что мне не свойственно страшиться действительных опасностей, что я не боюсь воды и не дальше, как вчера, весь день спокойно катался с тобою во время грозы по озеру Комо. А на гладкую поверхность здешнего озера я смотрел с робостью нервической женщины. Я редко бываю подвержен такого рода суеверным предчувствиям, я им никогда не поддаюсь, и вот лучшее доказательство тому, что я успешно им противлюсь: я тебе даже ничего не сказал; однако все та же смутная тревога, все то же ощущение неведомой опасности, неминуемой беды, грозящей тебе или мне, не оставляют меня и сейчас. Мне чудилось, будто в волнах озера мелькали хорошо знакомые призрачные образы, и они делали мне знак воротиться. Золотые блики заката, отражаясь в струе воды, бегущей за лодкой, принимали то образ моей матушки, то черты Люции. Эти призрачные видения потерянных мною близких людей упрямо вставали между нами и берегом. Я не чувствую себя больным, я не доверяю своему воображению... И все-таки я не спокоен; все это очень странно.

Сальватор уже собрался было заверить друга, что его тревога – всего лишь плод нервного возбуждения, вызванного дорожной усталостью, но в эту минуту раздался чей-то громкий, взволнованный голос, и в хижину донеслись слова: «Где он, да где же он, Биффи?»

Граф издал радостный возглас, бросился на террасу, и Кароль увидел, что он прижал к груди какую-то женщину, а та в свою очередь нежно и дружески обняла его.

Они просто засыпали друг друга вопросами и ответами на ломбардском диалекте, который Кароль понимал не так хорошо, как правильный итальянский язык. После этого быстрого обмена короткими, сжатыми фразами Флориани повернулась к князю, протянула ему руку и, не замечая, что он не очень охотно протянул свою, сердечно пожала ее, сказав, что он здесь – желанный гость и она с великим удовольствием даст ему приют у себя.

– Прости, пожалуйста, милый Сальватор, – воскликнула она со смехом, – что я заставила тебя ожидать в родовом замке моих предков! Но я тут страдаю от нескромного любопытства праздношатающихся, а так как в голове у меня постоянно грандиозные планы, то я и вынуждена запирается от всех, точно монахиня.

– Утверждают, однако, что вы уже некоторое время назад, можно сказать, приняли постриг и дали обет, – пошутил Сальватор, несколько раз целуя руку Лукреции, которую она не отнимала. – Вот почему я лишь с трепетом душевным осмелился потревожить вас в этой обители.

– Полно, полно, – продолжала она, – вижу, ты смеешься и надо мною, и над моими прекрасными планами. Я прячусь потому, что не желаю выслушивать дурные советы, по той же причине я избегаю всех своих друзей. Но коль скоро судьба приводит тебя ко мне, у меня пока что неостанется добродетели выпроводить тебя. Идем же и пригласи своего друга. Я по крайней мере с удовольствием предложу вам приют более комфортабельный, нежели постоянный двор в Изео. Кстати, почему ты не обнимешь моего сына, неужели ты не узнал его?

– О нет, я просто не решался его узнать, – отвечал Сальватор, поворачиваясь к красивому мальчугану лет двенадцати, который весело резвился неподалеку вместе с охотничьей собакой. – Как он вырос, как похорошел! – с этими словами граф прижал к груди мальчика, который скорее всего не помнил даже имени гостя. – А что твоя дочурка?

– Вы ее сейчас увидите, увидите и ее сестренку, и моего младшенького.

– Четверо детей! – вырвалось у Сальватора.

– Да, четверо прелестных детей, и, что бы там ни говорили, все они со мною! Вы уже познакомились с моим отцом, пока слуга ходил за мной? Как видите, с этой стороны охраняет меня он. Никто не может сюда проникнуть без его разрешения. Еще раз добрый вечер, отец. Вы утром придете позавтракать с нами?

– Не знаю, не знаю, – проворчал старик. – И без меня людей хватит.

Флориани настаивала, но отец ничего ей не обещал, он отвел дочь в сторонку и спросил, нужна ли ей рыба. Лукреции было хорошо известно его маниакальное желание продавать ей свой улов, и даже продавать втридорога, она заказала отцу много рыбы, чем привела его в полный восторг. Сальватор исподтишка наблюдал за ними; он понял, что Флориани весьма философски относится к своей участи и даже весело принимает прозаические стороны своего существования.

Уже стемнело, и не только Кароль, но даже его друг (которому черты Лукреции были хорошо знакомы) не могли разглядеть ее лицо. Осанка Флориани не показалась князю величественной, а манеры – элегантными, как можно было ожидать: ведь эта женщина так искусно представляла на театре знатных дам и королев. Она была скорее невысокого роста и, пожалуй, полновата. Голос у нее был звучный, но князь нашел его слишком резким. Заговори какая-нибудь женщина так громко в светской гостиной, на нее тотчас же обратились бы все взоры, и столь звучную речь сочли бы проявлением дурного тона.

Хозяйка дома и ее гости прошли через парк, а затем и через сад в сопровождении Биффи, который нес чемодан, и вступили в залу строгого и благородного стиля: потолок в ней подпирали дорические колонны, а стены были отделаны под белый мрамор. Тут было много света, по углам стояли цветы, на них ниспадали сверкающие струи воды, которую без большого труда провели сюда из соседнего озера.

– Возможно, вас удивляет обилие, казалось бы, ненужного света, – сказала Флориани, заметив приятное изумление, в которое повергла Сальватора гостиная, – но это единственная моя прихоть: яркий свет напоминает мне о театре. Живя в одиночестве, я все еще люблю просторные, залитые светом покои. Люблю также блеск звезд, а мрачное помещение наводит на меня тоску.

Флориани, для которой этот дом таил немало воспоминаний, одновременно сладостных и жестоких, многое в нем переменяла и многое украсила. Она оставила в неприкосновенности только комнату, где некогда обитала ее крестная мать, госпожа Раньери, да закрытый цветник, в котором эта чудесная женщина разводила цветы – она-то и научила Лукрецию любить их. Сама госпожа Раньери нежно любила свою маленькую воспитанницу; она сделала все от нее

зависящее, чтобы вырвать у старого скряги стряпчего, чьей женой и рабою она, к несчастью, была, согласие на брак их сына с образованной крестьянской девушкой. Но из этого так ничего и не вышло... Теперь из семьи Раньери никого уже не осталось в живых. Флориани бережно хранила память об одних, простила другим, и после долгих волнений она привыкла жить здесь, не слишком часто вспоминая о прошлом. Именно потому, что она сделала в этом, в общем-то скромном, жилище немало улучшений, вызванных необходимостью или продиктованных вкусом, старик Менапаче, который не понимал ее стремления к изяществу, гармонии и чистоте, обвинял дочь в том, что она разоряется. Вид гостиной понравился Каролу. Такой характер итальянской роскоши, когда помещение ласкает глаз, пленяет красотой линий и монументальным изяществом, а не поражает богатством, комфортом и обилием мебели, был близок его собственным вкусам и отвечал тому представлению о величественном и вместе простом существовании, которое он себе составил. Следуя своей привычке не слишком углубляться в душу других и рассматривать прежде всего раму, а не картину, он искал во внешних манерах и привычках Флориани то, что могло примирить его с некоторыми сторонами ее интимной жизни, которые казались ему скандальными и достойными осуждения. Но пока Кароль любовался сверкающими белоснежными стенами, прозрачными фонтанами и экзотическими цветами, Сальватор был занят другим. Он с тревогой и какой-то жадностью смотрел на Флориани. Он и огорчился, что она теперь уже не так хороша, как раньше, и невольно желал этого, памятуя, что поклялся на следующий же день покинуть ее дом.

Когда же он наконец увидел Лукрецию при ярком свете, то и в самом деле заметил, что красота ее поблекла, что она утратила былую свежесть. Она слегка располнела; нежный колорит щек уступил место матовой бледности; глаза как будто утратили свой блеск, выражение лица изменилось; словом, то была уже не прежняя жизнерадостная и оживленная Лукреция, хотя она и казалась более деятельной и здоровой, чем прежде. Она стала совсем иной потому, что уже не любила, и должно было пройти какое-то время, чтобы он мог постичь эту новую для него женщину.

Лукреции исполнилось тридцать лет. Сальватор не видел ее года четыре, а то и больше. Тогда она была вся во власти волнений, связанных с ее бурной деятельностью, страстями, жадной славой. Сейчас это была мать семейства, сельская жительница, удалившаяся на покой талантливая актриса, померкшая звезда.

Она вскоре заметила впечатление, которое эти перемены произвели на графа, ибо, взявшись за руки, они внимательно разглядывали друг друга: она – со спокойной и лучезарной улыбкой, он же – с улыбкой тревожной и меланхолической.

– Ну что ж, мы оба переменялись, не так ли? – сказала она искренним и решительным тоном, без всякой задней мысли. – И нам следует кое-что исправить в своих воспоминаниях. Совершившаяся перемена полностью в твою пользу, любезный граф. За это время ты многое приобрел. Тогда ты был приятный и интересный юноша, ты по-прежнему молод, но стал уже взрослым, совсем взрослым мужчиной; теперь у тебя красивая черная борода, пламенный взор, львиная грива, и весь твой вид дышит силой и победоносной уверенностью в себе. Ты сейчас в самом расцвете жизни и, видно, недурно этим пользуешься – об этом говорит твой взгляд, гораздо более твердый и блестящий, чем прежде. Тебя удивляет, что сегодня ты красивее, нежели я, ты еще помнишь ту пору, когда тебе казалось, что все обстоит наоборот. И тому есть две причины: ныне ты стал менее восторженным, а я уже не так молода. Ведь я уже спускаюсь по склону горы, гребня которой ты еще не достиг. Раньше ты поднимал глаза, чтобы посмотреть на меня, а теперь наклоняешься и глядишь сверху вниз, ибо жизнь моя идет под уклон. И все-таки не жалею меня! Думаю, что хоть меня и окутывает туманная дымка, я все же счастливее тебя, хотя ты ярко освещен солнечными лучами.

VII

В голосе Флориани таилось особое очарование. То был голос и вправду слишком сильный для светской женщины, но еще очень свежий, и по его тембру совсем не чувствовалось, что Лукреция часто и много обращалась к публике. Во всех ее интонациях прежде всего ощущалась необычайная открытость, они никогда не оставляли у слушателя даже тени сомнения в искренности тех чувств, какие выражали; голос этот звучал одинаково естественно и со сцены, и в домашнем кругу, в нем не было ничего от декламации и патетики, которые неотделимы от подмостков. И вместе с тем ее звучный голос был буквально пронизан жизненной силой. По верности интонаций Кароль сразу понял, что Флориани была, очевидно, превосходной актрисой с неотразимым обаянием. Этого он не мог не признать, тем более что заранее твердо решил: хозяйка дома может заинтересовать его лишь как артистка.

Сальватору была хорошо известна природная искренность Лукреции, и он понимал, что она не стала бы выказывать притворную отрешенность от жизни. Он только подумал, что она заблуждается, и искал, что бы такое сказать, дабы смягчить первое и, надо признаться, не слишком благоприятное впечатление. Однако в подобных случаях нелегко найти достаточно деликатные слова, чтобы утешить увядающую женщину, и граф счел за благо попросту обнять приятельницу, присовокупив, что у нее и в сто лет будут возлюбленные, если только она сама того захочет.

– Ну нет, не стану я уподобляться Нинон де Ланкло^[9], – со смехом запротестовала Лукреция. – Чтобы не состариться, надо быть бездеятельной и холодной. Любовь и труд не позволяют женщине сохранять свежесть. Я надеюсь сохранить своих друзей, и только. Мне этого вполне достаточно.

Внезапно в гостиную стремительно вбежали две прелестные девочки и закричали, что ужин подан. Наши путешественники уже подкрепились в Изео и потому настояли, чтобы Флориани поужинала с детьми. Сальватор подхватил на руки и ту малышку, которую знал, и ту, которую прежде в глаза не видел, и понес обеих в столовую. Кароль, боясь помешать, предпочел остаться в гостиной. Но обе комнаты сообщались между собою, дверь между ними была открыта, а стены, отделанные под мрамор, хорошо отражали звуки. И хотя князь предпочел бы погрузиться в свои привычные думы и не обращать внимания на то, что происходит вокруг в этом чужом доме, он все видел и слышал, он даже невольно прислушивался, хотя и досадовал за это на самого себя.

– Разрешите мне, пожалуйста, поухаживать за детьми и за тобой! – громко заговорил Сальватор, усаживаясь за стол рядом с малышами (Кароль отметил, что в его отсутствии граф без всякого стеснения говорит Флориани «ты»). – Ведь я обожаю твоих детей, как прежде, обожаю я и эту прелестную белокурую фею, которой в ту пору еще на свете не было. Одна только ты, Лукреция, умеешь делать все лучше других, даже детей!

– Ты бы с полным правом мог сказать: *особенно* детей! – отвечала она. – Господь Бог благословил меня чудесными малышами: они добры и милы, их легко воспитывать, они всегда жизнерадостны и здоровы. Постой-ка, вот и еще один явился пожелать нам доброй ночи. Тебя ждет новое знакомство, Сальватор!

Кароль, который сперва пытался читать газету, а затем стал шагать взад и вперед по гостиной, невольно бросил взгляд в столовую и увидел красивую крестьянку со спящим младенцем на руках.

– Какая великолепная кормилица! – простодушно воскликнул Сальватор.

– Да ты на нее клеветашь, – перебила его Лукреция, – скажи лучше, что это мадонна Корреджо^[10] с il divino bambino³ на руках. У моих детей не было другой кормилицы, кроме меня, и двух старших я часто кормила грудью за кулисами во время антракта. Помнится, однажды публика так настойчиво вызывала меня после первого действия, что мне пришлось выйти на сцену с ребенком, прикрытым шалью. Двое младших уже росли в более спокойных условиях. А этот малыш давно отнят от груди. Да и то сказать, ему скоро два года!

– Право, тот, кого я вижу впервые, всегда кажется мне самым красивым, – сказал Сальватор, беря младенца из рук служанки. – Да это сущий ангелочек! С каким удовольствием я бы его расцеловал, только боюсь, проснется.

– Не бойся, здоровые дети, которые целый день играют на свежем воздухе, спят крепко. И не стоит лишать их сердечной ласки. Если она и не приносит им удовольствия, то уж, верно, приносит счастье.

– Ах да, это ведь у тебя старая примета! – воскликнул Сальватор. – Как же, помню! Мысль очень трогательная, и она мне нравится. Ты даже распространяешь ее на усопших, я до сих пор вспоминаю того беднягу, машиниста сцены, который на одном из твоих представлений упал с декораций и разбился насмерть...

– Да, да, несчастный человек!.. Ты тогда тоже был там... Это случилось в ту пору, когда у меня был свой театр.

– И ты, Лукреция, выказала редкое мужество, ты велела отнести умирающего в твою артистическую уборную, там он испустил последний вздох. Какая сцена!

– Да, куда более трагическая, нежели та, которую я перед тем разыгрывала для публики. Мое платье было забрызгано кровью несчастного!

– Какой ты жила жизнью! У тебя тогда даже не было времени переодеться, спектакль продолжался, и когда ты вновь появилась на сцене, зрители решили, что кровь на твоей одежде – всего лишь атрибут драмы.

– Этот бедолага был отцом многочисленного семейства. Жена его случайно оказалась в театре, и со сцены я слышала, как она рыдает и стонет за кулисами. Да, надобно быть железной, чтобы сносить все трудности, связанные с жизнью актрисы.

– С виду ты и впрямь железная, но я не знаю другой женщины с такой мягкой и отзывчивой натурой. Помню, после представления, когда труп уносили, ты подошла к нему и запечатлела поцелуй на лбу усопшего, прошептав, что это поможет его душе обрести вечный покой. Другие актрисы, увлеченные твоим примером, проделали то же самое, и даже я в угоду тебе нашел в себе мужество прикоснуться ко лбу мертвеца, хотя в подобных случаях у мужчин его бывает меньше, чем у женщин. Да, все это поначалу казалось странным и походило на всеобщее помешательство; но такая сцена не может никого оставить бесчувственным. Ты пообещала назначить пособие вдове погибшего, но ее гораздо больше тронул поцелуй, который ты, гордая королева, запечатлела на окровавленном лбу изуродованного работника (он и впрямь выглядел ужасно!), нежели все благодеяния; она обняла твои колени, у нее было такое чувство, что ты прослала ее покойного мужа и что с твоим поцелуем на челе он уж никак не попадет в ад.

Во время этого рассказа глаза старшего сына Флориани сверкали, как угли.

– Да, да! – воскликнул красивый мальчик, который унаследовал от матери одухотворенное лицо с тонкими чертами. – Я тоже был при этом и все хорошо помню. Все происходило именно так, как ты рассказываешь, синьор, и я, я тоже поцеловал Джанантонио!

– Очень хорошо, Челио, – сказала Флориани, обнимая сына. – Не следует слишком часто вспоминать об этом страшном случае, такие волнения очень вредны в твоем возрасте, но и забывать о нем не следует. Господь Бог запрещает нам отворачиваться от горя и страданий других; надо всегда быть готовым прийти на помощь и не убеждать себя, будто ничего сделать

³ Божественным младенцем (*ит.*).

нельзя. Ты сам видишь, что можно хотя бы благословить умерших и немного утешить тех, кто их оплакивает! Ведь и ты так считаешь, не правда ли, Челио?

– О да! – вскричал мальчик с искренностью и твердостью, которые он унаследовал от матери.

И он обнял Лукрецию с таким чувством и так порывисто, что на ее круглой и сильной щеке еще некоторое время оставался след его маленьких, но крепких рук.

Флориани не удивилась этому пылкому объятию и не рассердилась на сына. Она продолжала с аппетитом ужинать; но, все время наблюдая за детьми и оживленно беседуя с Сальватором, она следила, чтобы он, подкладывая кушанья и подливая вино малышам, соотносился с возрастом и темпераментом каждого.

У Лукреции был деятельный, хотя и спокойный нрав; она мало думала о себе, но неизменно проявляла внимание и предупредительность к другим; ее привязанности отличались пылкостью, но ей не была свойственна пустая, почти ребяческая тревога, она всегда учила своих детей думать об их поступках, не нарушая при этом их веселья и считаясь с возрастом и естественными склонностями каждого; она играла с ними и сама забавлялась, как ребенок; от природы и по привычке она всегда была весела, но вместе с тем поражала серьезностью суждений и твердостью взглядов, что не мешало ей быть по-матерински терпимой, и не только к членам своей семьи. Ум у нее был ясный, глубокий и вместе с тем очень живой. Забавные истории она рассказывала с невозмутимым видом и, смешивая других, сама никогда не смеялась. Лукреция взяла себе за правило поддерживать в окружающих хорошее настроение и, сталкиваясь с неприятностями, умела видеть их забавную сторону; она стойко переносила страдания, понимая, что и несчастье по-своему благотворно. Ее манера держать себя, ее внутренняя жизнь, все ее существо непрестанно служили назидательным примером для детей, друзей, слуг и бедняков. Она жила, мыслила, дышала и уже одним этим поддерживала нравственное и физическое равновесие в окружающих; со стороны могло показаться, что это ей совсем не трудно и она даже не помнит о том, что и у нее самой бывали огорчения или несбывшиеся мечты.

А между тем на ее долю выпало немало страданий, и Сальватор это хорошо знал...

В конце ужина девочки захотели присоединиться к своему братишке, который уже сладко почивал в спальне Лукреции. Красавцу Челио, которому уже исполнилось двенадцать лет, разрешалось ложиться в десять вечера, и он побежал играть с собакой на террасу, откуда открывался чудесный вид на озеро.

Какое возвышенное зрелище являла собою сцена прощания Лукреции с детьми в конце ужина: очаровательные малыши ласково обнимали мать и церемонно целовали друг друга – с нежностью и озорством. Глядя на античный профиль Флориани, на просто и без малейшего кокетства закрученные вокруг величественной головы волосы, на простое свободное платье, под которым едва угадывалось тело, напоминавшее своими формами статую римской императрицы, на ее матово-бледное лицо, слегка покрасневшее от бурных поцелуев малышей, на усталые, но ясные глаза, на красивые руки, на которых изящно обрисовывались сильные округлые мускулы, когда она разом обнимала весь свой выводок, Сальватор вдруг понял, что никогда еще не видел Лукрецию такой оживленной и прекрасной. Едва дети вышли из комнаты, он, забыв и думать о Кароле, чья тень металась по стене гостиной, дал выход чувствам, переполнявшим его сердце.

– Лукреция! – воскликнул он, покрывая поцелуями ее руки, уставшие от пылких и нежных материнских объятий. – Не знаю, где были мой ум, сердце и глаза, когда я вообразил, будто ты постарела и подурнела! Никогда еще ты не была столь молода, столь свежа и пленительна, ты способна свести человека с ума. Если хочешь, чтобы я окончательно потерял голову, тебе достаточно сказать лишь одно слово, но, боюсь, тебе придется потратить очень много слов, чтобы помешать мне лишиться рассудка. Знаешь, я всегда испытывал к тебе нежные друже-

ские чувства, во мне всегда жили любовь к тебе, почтение и уважение, восторг, даже страсть... И вот теперь...

– И вот теперь, друг мой, ты либо смеешься надо мною, либо несешь вздор, – прервала его Лукреция со спокойным достоинством, которое рождает привычка повелевать. – Прошу тебя, не стоит говорить так легкомысленно о серьезных вещах.

– Но я говорю совершенно серьезно... Послушай, – продолжал граф, слегка понижая голос скорее безотчетно, чем из осмотрительности, ибо князь по-прежнему слышал все слово в слово, – скажи откровенно, ты сейчас свободна?

– Отнюдь, и меньше, чем когда бы то ни было! Отныне я целиком принадлежу своей семье, детям. А эти узы – самые священные, их я никогда не разорву.

– Прекрасно! Прекрасно! Никто и не требует, чтобы ты их рвала! Но я спрашиваю тебя о любви. Скажи, правда ли, что вот уже год, как ты от нее отказалась?

– Сущая правда.

– Как! У тебя нет возлюбленного? А отец Челио и Стеллы?

– Он умер. Это был Меммо Раньери.

– Ах да, верно. Ну а от кого твоя младшая дочь?..

– Беатриче? Ее отец оставил меня прежде, чем она родилась.

– Стало быть, самый младший не от него?

– Сальватор? Нет.

– Как, малыша зовут Сальватор?

– Да. Я назвала его в твою честь и в знак признательности за то, что ты никогда за мной не волочился.

– Божественная и злая женщина! Но кто же, в конце концов, отец моего тезки?

– Я его оставила в прошлом году.

– Оставила? Ты оставила первая?

– Да, честное слово! Я устала от любви. Я нашла в ней одни только муки и несправедливость. Передо мною был выбор: либо умереть с горя, влача это ярмо, либо жить ради своих детей, принеся им в жертву человека, который не мог любить всех их одинаково. Я избрала второе решение. Я сильно страдала, но не рассказываю.

– Но мне говорили, будто у тебя была любовная связь с одним из моих друзей, французом, довольно талантливым художником...

– С Сен-Жели? Мы любили друг друга всего неделю.

– Ваш роман наделал много шума.

– Возможно! Но он был дерзок со мною, и я попросила его забыть дорогу в мой дом.

– Так это он отец Сальватора?

– Нет, отец Сальватора – бедный артист Вандони, быть может, лучший, самый порядочный из всех моих друзей. Но его снедала жалкая, какая-то ребяческая ревность. Ревность к прошлому, понимаешь? Живя со мною рядом, он не мог ни в чем меня подозревать и укорял прошлым. Это нетрудно: моя прежняя жизнь не во всем была безупречна, и потому он вел себя не великодушно. Я не могла сносить бесконечные ссоры, попреки, вспышки гнева, которые все труднее было скрывать от детей. Я бежала от него, пряталась здесь некоторое время, а когда узнала, что он примирился со своей участью, то купила этот дом и прочно тут обосновалась. Все-таки я и до сих пор еще не совсем спокойна, потому что он меня очень любил, и если новая пассия не сумеет удержать его возле себя, он способен явиться сюда, а уж этого я никак не желаю.

– Ну что ж, – со смехом сказал Сальватор, снова завладевая руками Лукреции, – оставь меня здесь на положении твоего рыцаря; пусть этот Вандони только покажется, я снесу ему голову с плеч.

– Благодарю покорно, но я и без твоей помощи сумею себя защитить.

– Стало быть, ты не хочешь, чтобы я остался? – проговорил Сальватор, слегка возбужденный несколькими рюмками кроатского мараскина и совершенно забывший о своем друге и о своих обещаниях.

– Напротив, живи у меня, сколько тебе захочется! – ответила Флориани, дружески потрепав его по щеке. – Но только на прежних условиях.

– Позволь по крайней мере, чтобы то были условия перемирия, ведь тогда я смогу их когда-нибудь нарушить.

– Берегись, – сказала Лукреция, отнимая свои руки. – Если ты не в силах, как прежде, оставаться моим другом, я тебя выпровожу. Вернемся-ка лучше к твоему приятелю, должно быть, ему скучно одному в гостинной!

Кароль стоял, прислонившись к колонне, и слышал весь этот разговор; теперь он точно пробудился от сна и поспешил отойти, чтобы его не застали врасплох и не подумали, что он подслушивает. Он провел рукою по лбу, словно хотел прогнать кошмарные видения. Невольное усилие, которое он совершил, чтобы осмыслить бурную и беспорядочную жизнь хозяйки дома – жизнь, где перемешались поступки возвышенные и поступки, достойные осуждения, казалось, вконец нарушило его душевный покой. Он не постигал, как может Сальватор, выслушивая эту женщину, которая с каким-то вызовом откровенно рассказывала о своих заблуждениях, все больше воспламеняться страстью к ней, не постигал, почему то, что отвращает его, Кароля, притягивает к себе его сумасбродного друга, как свет лампы притягивает мотылька.

Князь почувствовал, что не в силах встретиться сейчас лицом к лицу с Сальватором и Лукрецией. Он опасался, что не сможет скрыть свое недовольство им и свою жалость к ней. Поэтому он стремительно вышел в противоположную дверь и, повстречав Челио, осведомился у мальчика, где расположена комната, которую любезно отвели гостям. Мальчуган проводил Кароля на верхний этаж и ввел в роскошный покой, где для приезжих уже были приготовлены две кровати с мягкой постелью и белоснежным бельем. Князь попросил Челио передать матери, что он очень устал и потому удалился к себе, но приносит ей свои извинения и заверяет в глубоком почтении.

Оставшись один, он постарался взять себя в руки и успокоиться. Однако он никак не мог обрести привычную безмятежность мыслей. Казалось, чье-то грубое вторжение взбаламутило чистый родник его душевного мира. Вот почему Кароль решил лечь в постель и забыться сном; но все было тщетно: он только непрерывно вздыхал и ворочался с боку на бок. Сон не приходил, уже пробило полночь, а князь все еще не сомкнул глаз. Сальватор между тем не возвращался.

VIII

А между тем Сальватор Альбани любил поспать. Как все крепкие, здоровые, деятельные и беззаботные люди, он ел за четверых, изрядно уставал за день и без лишних уговоров засыпал так же быстро, как Кароль, которому привычка к размеренному образу жизни и хрупкое здоровье не позволяли поздно ложиться.

Если во время путешествия, которое они совершали вдвоем, Сальватору иногда все же случалось засидеться до ночи, то он непременно два, а то и три раза приходил удостовериться, что его мальчик (так он называл юного князя) спокойно спит. У графа было сильно развито отцовское чувство, и хотя он был всего четырьмя или пятью годами старше Кароля, он заботился о нем, как о сыне, – до такой степени он ощущал потребность опекать существа более слабые и покровительствовать им. В этом он походил на Флориани и потому мог оценить лучше всякого другого глубокую любовь, которую она питала к своим детям.

И тем не менее на сей раз Сальватор забыл свои привычные заботы, а Флориани, не подозревавшая о том, к какому вниманию и нежной опеке граф приучил Кароля, не подумала, что ему следует зайти проведать своего спутника.

– Твой друг нас уже покинул, – сказала она Сальватору, когда Челио выполнил поручение князя. – Он, видимо, нездоров. Как, ты сказал, его зовут? Вы давно вместе путешествуете? Судя по всему, он чем-то удручен?..

Когда граф ответил на все ее вопросы, она прибавила:

– Бедный мальчик, он вызывает во мне сочувствие. Как это благородно – так сильно любить свою мать и так долго ее оплакивать! Его лицо и манеры мне понравились. Да, если бы мой милый Челио потерял меня, он тоже был бы достоин жалости! Кто станет любить его, как я?

– Надо боготворить своих детей и жить для них, как это делаешь ты, – заметил Сальватор, – но не следует приучать их жить только для самих себя и для нежной матери, которая посвящает им свою жизнь. Если ум и дух ребенка не получает того развития, на какое он способен, это приводит к весьма серьезным последствиям и таит немалую опасность; лучший пример тому – мой друг. Он чудесный человек, но глубоко несчастен.

– Как это? Почему? Объясни! Когда речь заходит о детях, их нраве, воспитании, я без конца готова слушать и размышлять над этим.

– О, нрав у моего друга пристрастный, и я затруднился бы точно его определить; говоря кратко, он все принимает слишком близко к сердцу: любовь и разлуку, счастье и горе.

– Ну что ж, в таком случае у него артистическая натура.

– Ты верно подметила; но эти его качества не получили достаточного развития: он очень любит искусство, но любит его только вообще. У него утонченный вкус, однако нет ярко выраженного призвания, которое всецело бы его захватило и заставило отвлечься от действительности.

– Ну что ж, в таком случае у него скорее женская натура.

– Верно; но не такая, как у тебя, милая Лукреция. Хотя он и способен на столь же сильную страсть, преданность, чуткость, восторженность, на какую способна лишь самая нежная женщина...

– Ну, тогда он и впрямь достоин жалости, ибо всю жизнь будет искать родственную душу, но так и не найдет ее.

– Ах! Ты, Лукреция, видно, плохо искала; стоит тебе только захотеть – и ты найдешь такую душу здесь, рядом!

– Поговорим лучше о твоём друге...

– Нет, не о нём, а о себе я хочу говорить с тобою.

– Я это понимаю и скоро тебе отвечу, но я не люблю перескакивать с одной темы на другую. Прежде всего объясни мне: раньше ты говорил, что твой друг во многом похож на меня, а теперь утверждаешь, будто у него совсем иная натура?

– Дело в том, что в твоём характере есть множество различных красок, а в его характере – только одна. Труд, дети, дружба, сельская природа, музыка – словом, все, что отмечено добром и красотой, находит в тебе живой отклик, может всегда тебя развлечь и утешить.

– Это правда. Ну а он?

– Он тоже любит все это, но глядит на мир только сквозь призму любимого существа. Если предмет его любви умрет или будет в отсутствии, весь мир перестанет для него существовать. Отчаяние и тоска гнетут Кароля, а в его душе недостаточно внутренней силы, чтобы начать жизнь сызнова, ради новой любви.

– Как это прекрасно! – воскликнула Флориани, охваченная наивным восторгом. – Если бы в те дни, когда я впервые полюбила, мне встретился человек с такой душой, я бы в жизни не знала иной любви.

– Ты меня пугаешь, Лукреция. Неужели ты готова полюбить моего милого князя?

– Я вообще не люблю князей, – простодушно ответила она. – Я всегда любила людей бедных и незаметных. К тому же твой милый князь мне в сыновья годится!

– Да ты с ума сошла! Ведь тебе тридцать, а ему двадцать четыре!

– Господи, а я-то думала, что ему лет шестнадцать или восемнадцать, он так похож на подростка! А я, я чувствую себя такой старой и мудрой, что порою мне кажется, будто мне уже пятьдесят.

– Нет, я все равно неспокоен, надо мне завтра же увезти отсюда князя Кароля.

– Можешь быть совершенно спокоен, Сальватор, я больше никого не люблю. Знай, – продолжала Лукреция, взяв графа за руку и приложив его ладонь к своему сердцу, – отныне здесь только камень. Впрочем, нет, – прибавила она, кладя ладонь Сальватора себе на лоб, – любовь к детям и к страждущим еще живет в моем сердце, но ведь прежде всего любовь зарождается здесь, в голове, а голова моя и впрямь окаменела. Я знаю, обычно любовь связывают с чувственностью, но если говорить о женщинах мыслящих, это неверно. У них она развивается постепенно и прежде всего овладевает разумом, стучится в двери воображения. Без этого золотого ключика ей не войти. Когда же она подчинит себе ум, то проникает и в самые недра существа, кладет печать на все наши чувства и способности, и тогда мы начинаем любить покорившего нас мужчину, как бога, сына, брата, мужа, как любят всё то, что способна любить женщина. Любовь возбуждает и подчиняет себе все фибры нашего существа, я согласна с тем, что и чувственность, в свою очередь, играет при этом немалую роль. Однако женщина, которая способна на наслаждение без любовного восторга, – просто самка, а я торжественно тебе заявляю, что во мне любовный восторг остыл навсегда. Я испытала слишком много разочарований, видела слишком много горя. И, помимо всего, слишком устала. Ты ведь знаешь, как мне внезапно наскучил театр, как он утомил меня душевно, хотя в ту пору я была еще в полном расцвете сил. Однако воображение мое было пресыщено, оно исчерпало себя. Во всем мировом репертуаре я уже не находила ни одной роли, которая представлялась бы мне правдивой, а когда я пыталась написать для себя роль по собственному вкусу, то, сыграв ее лишь один раз, обнаруживала, что мне не удалось вложить в нее обуревавшие меня чувства. Я не могла хорошо воплотить эту роль на сцене, потому что она не была хороша, и даже когда зрители старались меня обмануть, награждая рукоплесканиями, я-то сама никогда не обманывалась. Так вот, теперь я пришла к тому же и в любви: я слишком много и долго играла на струнах иллюзии.

– Любовь – это призма, – продолжала Флориани. – Она точно некое солнце, которое мы, как факел, подносим к челу, освещая им наш внутренний мир. Если солнце это гаснет, все вновь погружается во тьму! Теперь я вижу людей и жизнь такими, какие они есть. Отныне я могу любить только из милосердия, так я и поступила с Вандони, моим последним возлюбленным. Во мне уже не было любовного восторга, я была признательна Вандони за его страстную привязанность, меня трогали его муки, и я решилась на самопожертвование: я не была счастлива, я даже не испытывала опьянения. То было постоянное жертвоприношение, безрассудное, противоестественное. И внезапно это ужаснуло меня, я почувствовала себя глубоко униженной. Я была не в силах сносить его упреки по поводу моих прошлых привязанностей, потому что ни одна из тех привязанностей, которым я в свое время простодушно и слепо отдавалась, ни одна из них не представлялась мне более предосудительной, чем та, которую я пыталась длить вопреки себе самой... О, я многое могла бы рассказать вам по этому поводу, друг мой, но вы еще слишком молоды и не поймете меня.

– Говори! Говори! – вскричал Сальватор, впавший в задумчивость. Потом, сжав руку Лукреции в своей, он прибавил: – Позволь мне лучше узнать тебя, чтобы и дальше любить тебя как сестру или найти в себе мужество любить иначе. Видишь, я совершенно спокоен, потому что слушаю со вниманием.

– Люби меня как сестру, а не иначе, – сказала она, – ибо я могу видеть в тебе только брата. Именно так я любила Вандони, любила много лет. Я познакомилась с ним в театре, где он не блистал талантом, но приносил пользу, так как был деятелен, предан общему делу и добр. Однажды вечером... в деревушке, неподалеку от Милана, таким же вот прекрасным летним вечером, как сегодня, он попросил меня подробно рассказать о моем разрыве с певцом Теальдо Соави, отцом моей милой крошки Беатриче. Его-то я как раз любила страстно, но то был человек с низкой и порочной душой. Он говорил, что собирается жениться на мне, а на самом деле уже был женат! Я вовсе не стремилась к браку, но, по правде говоря, пришла в ужас, узнав, что он так долго и так искусно лгал. Я обрушила на Соави град горьких, исполненных негодования упреков, и он оставил меня, когда я вот-вот должна была стать матерью. У меня не хватило бы мужества самой прогнать его, но достало воли не пытаться его вернуть.

Беатриче еще не было года, когда бедный Вандони, который сделался моим верным кавалером, слугой, рабом и который любил меня уже давно, не решаясь в этом признаться, выслушав рассказ о моих горестях, бросился передо мной на колени: «Полюби меня, – умолял он, – и я тебя утешу. Исправлю, сотру из твоей памяти все то зло, какое тебе причинили. Я хорошо знаю, что ты не любишь меня, но уступи моей страсти, и, быть может, пожирающая меня любовь передастся и твоему сердцу. К тому же, располагая твоей дружбой и доверием, я уже и так буду самым счастливым, самым благодарным из смертных».

Я долго противилась. Я и в самом деле питала к нему только дружеские чувства, и полюбить его для меня было невозможно. Я просила Вандони забыть меня, но он всерьез задумал наложить на себя руки. Я пыталась жить рядом с ним, храня целомудрие, он просто обезумел. И тогда я уступила; мне казалось, будто я допустила кровосмешение, ибо в его объятиях вместо опьяняющего блаженства я ощущала только стыд, боль и желание плакать.

Все же его страстная любовь переполняла меня нежностью, и некоторое время мы жили спокойно. Однако Вандони надеялся, что его любовный восторг найдет в конце концов отклик в моем сердце. Когда же он увидел, что ошибся, что обрел во мне лишь кроткую и преданную подругу, он не нашел в себе мужества понять, что я слишком давно его знаю, а потому не могу испытывать любовный восторг, и что чем дольше я буду с ним рядом, тем менее вероятной станет такая возможность. Он был молод, хорош собой, великодушен, достаточно умен и образован и поэтому не мог примириться с тем, что его чары на меня не действуют... Пожалуй, то же происходит и с тобою, Сальватор? Я сейчас объясню тебе, почему так бывает.

Силу любви, которую мы испытываем, не следует измерять достоинствами любимого существа. Любовь какое-то время питается собственным пламенем, больше того, она вспыхивает в нас, не спрашивая совета ни у нашего опыта, ни у нашего разума. То, что я тебе говорю, – вещь банальная, таких примеров множество, каждый день мы видим, как люди превосходные встречают в ответ на свою любовь лишь неблагодарность да измену, в то время как люди порочные или жалкие внушают к себе сильную и упорную страсть.

Все это видят, все это сознают, но не перестают удивляться, потому что никак не могут доискаться причины такого явления, ибо любовь – чувство по природе своей таинственное, все ей покоряются, но не понимают ее. Тема эта столь глубока, что о ней и подумать страшно, однако разве нельзя серьезно исследовать то, что пока еще только смутно замечают? Разве нельзя как следует изучить, рассмотреть и в какой-то мере постичь это сладостное и грозное чувство, величайшее из тех, какие дано испытать роду людскому, чувство, от которого никто не может уберечься и которое вместе с тем принимает столько различных форм и обликов, сколько есть на земле индивидуумов? Разве нельзя хотя бы уразуметь его философскую сущность, открыть закон его идеала, а затем, вопрошая самого себя, узнать, какая же любовь живет в нас – возвышенная и разумная либо зловещая и безрассудная?

– Однако, Лукреция, тебя занимают высокие материи! – воскликнул Сальватор. – И раз уж ты размышляешь о подобных предметах, я теперь вижу, что страсти и впрямь утратили над тобой власть.

– Ну, это, положим, не довод, – возразила она. – Можно испытывать сильные чувства и отдавать себе в них отчет. Пожалуй, такая способность – несчастье для человека, но она мне свойственна, и так было всегда; еще в молодости, в пору самых бурных страстей, мой ум терзался, стремясь сохранить ясность суждения среди бушевавших вокруг стихий; и я даже не понимаю, как может ум охваченного страстью человека не быть в постоянном напряжении. Я хорошо знаю, что такая ясность недостижима, что чем больше ты стараешься разобраться в своих чувствах, тем больше запутываешься; но происходит это, как я уже тебе говорила, потому, что законы любви никому не ведомы и еще только предстоит составить краткое пособие для постижения наших душевных привязанностей.

– Таким образом, ты долго искала ключ к загадке, но так и не нашла его! – воскликнул Сальватор.

– Нет, не нашла, но чувствую, что ключ этот надо искать в Евангелии.

– Любовь, о которой мы толкуем, не имеет отношения к Евангелию, мой бедный друг. Иисус Христос ее осудил, она была ему неведома. Любовь, которой Он нас учит, распространяется на все человечество, а не направлена на одно существо.

– Не знаю, не знаю, – возразила она, – но, мне кажется, все, о чем говорил и о чем думал Христос, недостаточно понято в Евангелии, и я готова поклясться, что Он был не так уж несведущ в любви, как это принято утверждать. Христос был девственник, не спору, но это не мешало ему глубоко проникнуть в философскую сущность любви. Он – Бог, и против этого я, разумеется, тоже спорить не стану; но в том, что Он принял человеческий облик, я вижу некое слияние духа с материей, некий духовный союз с женщиной, и это не оставляет во мне сомнений в характере Божественного промысла. Не смейся же надо мной, если я скажу тебе, что Христос лучше, чем кто бы то ни было, постиг сущность любви; обрати внимание, как Он вел себя с женщиной, обвиненной в прелюбодеянии, с самаритянкой, с Марфой и Марией, наконец, с Марией Магдалиной^[11]. А как возвышенна и глубока его притча о рабочих двенадцатого часа^[12]! Все, что Он делает, все, что говорит, все, о чем думает, имеет одну цель: показать нам, что любовь черпает величие в самой себе, а не в том, на кого она обращена, что она пренебрегает несовершенством людей, что она становится все безграничнее и сильнее, по мере того как человечество становится все более грешным и слабым, все менее достойным столь возвышенной любви.

– Все это верно, но ты рисуешь картину христианского милосердия.

– Так вот, любовь, великая, настоящая любовь, разве не есть она христианское милосердие, которое направлено на одно-единственное существо и сосредоточено только на нем?

– Какая утопия! Любовь – самое эгоистическое среди чувств, она меньше всего совместима с христианским милосердием.

– Да, такая любовь, какой вы ее сделали, жалкие люди, и впрямь несовместима с ним! – с жаром воскликнула Лукреция. – Но любовь, которую даровал нам Господь, любовь, которая из его груди должна была перейти в нашу, сохранив при этом свой чистый пламень, любовь, которую я постигаю, о которой грезил, которую так долго искала, которую, как мне казалось, несколько раз в жизни обретала и которой наслаждалась (увы, ровно столько времени, сколько нужно человеку, чтобы забыться сном и внезапно проснуться), любовь, в которую я, несмотря ни на что, верю, как в свою религию, хотя, быть может, я ее единственный адепт и умру, прежде чем познаю ее... так вот, эта любовь – верный слепок той, которую Иисус Христос испытывал и проявлял к людям. Эта любовь – отблеск божественного милосердия, и она повинуетя тем же законам: она безмятежна, кротка и праведна, как все чувства праведников. Любовь бывает тревожной, слишком пылкой и неистовой – словом, излишне страстной – только у грешников.

Если ты увидишь двух супругов, предупредительно относящихся друг к другу, исполненных спокойной, нежной и преданной любви, говори смело: это дружба; но если ты, человек порядочный и благородный, ощутишь бурную страсть к презренной куртизанке, будь уверен: это любовь, и не красней! Ведь Иисус Христос любил даже тех, кто принес его в жертву!

Именно так я и любила Теальдо Соави. Я хорошо понимала, что он человек эгоистичный, суетный, тщеславный, неблагодарный, но я была от него без ума! Когда я узнала, что он подлец, я прокляла его, но продолжала любить. Я так горько и так мучительно оплакивала свою любовь к нему, что с тех пор утратила способность полюбить другого человека. Внешне я утешилась довольно скоро, ну а теперь я и в самом деле покойна; однако удар был столь силен, рана столь глубока, что я уже никогда никого не полюблю!

Флориани вытерла слезу, которая медленно катилась по ее бледной щеке. Лицо ее не выражало ни малейшего гнева, но в этом спокойствии было что-то пугающее.

IX

– Стало быть, из-за какого-то негодяя ты не смогла полюбить человека порядочного? – с волнением спросил Сальватор. – Все-таки ты странная женщина, Лукреция!

– А разве этот человек нуждался в моей любви? – возразила она. – Разве он не был доволен собою, тем, что чувствовал себя во всем правым, разумным, мудрым, что пребывал в мире и согласии с собственной совестью и с окружающими? Он просил моей дружбы в награду за добродетельную жизнь и долгую преданность. Он получил ее, но не пожелал этим удовольствоваться. И стал требовать страсти: ему нужны были беспокойство, страдания. Я не сумела стать несчастной из-за него. А он не мог мне простить желание сделать его счастливым.

– Господи, сколько парадоксов, друг мой, я просто напуган! Ты говоришь прекрасные вещи, но привести твои слова к одному знаменателю было бы весьма затруднительно. Любовь, говоришь ты, великодушна, возвышенна и чудесна. Сам Иисус Христос, уча нас христианскому милосердию, тем самым научил и такой любви. По-твоему, любовь – это участие, доведенное до самозабвения, преданность, дошедшая до предела. И потому чувство это доступно только высоким душам. А людей с такой душой ждет ад уже в здешнем мире, поскольку они пылают этой священной страстью только к злым и неблагодарным.

– Но в том нет никакого сомнения! – воскликнула Флориани. – Загадка жизни сводится к следующему: жертва, муки, усталость. Так бывает и в молодости, и в зрелом возрасте, так бывает и в старости.

– Стало быть, праведники никогда не познают счастья быть любимыми?

– Да, не познают, пока не переменится мир, а вместе с ним и человеческое сердце. Если Христос, как Он обещал, вновь сойдет на землю, когда исполнятся сроки, Он, уповаю, дарует более мягкие законы новому роду людскому; но те люди будут гораздо лучше нас.

– Итак, ни разделенной любви, ни высокого опьянения чувством для нашего поколения?

– Нет, нет и еще раз нет!

– Ты меня пугаешь, отчаявшаяся душа!

– Беда в том, что в любви ты ищешь счастья, но его в ней нет и быть не может. Счастье – это покой, дружба; любовь же – буря, борьба.

– А вот я хочу описать тебе иную любовь: дружба и, значит, покой в соединении со сладострастием; иначе говоря – наслаждение, счастье.

– Да, таков идеал брака. Мне он незнаком, хотя в свое время я о нем мечтала и стремилась к нему.

– И, не зная, ты его отрицаешь?

– Скажи, Сальватор, встречал ли ты когда-нибудь двух любовников или двух супругов, которые совершенно одинаково любили бы один другого? Любили бы с равной силой и равной мерой спокойствия?

– Не знаю... Не думаю!

– А вот я, я совершенно убеждена, что этого не бывает. Как только страсть всецело завладевает одним (а это неизбежно!), другой охладевает, приходит пора страданий, и счастье нарушено, если не утрачено вовсе. В молодости люди стремятся полюбить друг друга; в расцвете лет они друг друга любят, но при этом мучают; в зрелом возрасте думают, что любят, но ведь любовь-то уже прошла!

– Ну что ж, в зрелом возрасте ты, я вижу, выйдешь замуж; это будет брак по рассудку, основанный на нежной симпатии, и ты станешь жить счастливо в дружном супружестве. Ведь такова твоя мечта, не правда ли?

– Нет, Сальватор, зрелый возраст для меня уже наступил. Моему сердцу теперь пятьдесят лет, а уму – вдвое больше. И не думаю, что будущее вернет мне ощущение молодости. Вероятно, надо любить только одного человека, пройти рядом с ним через все трудности, страдать вместе с ним и ради него, до конца сохранить ему нежную преданность, как нас учит Христос. Только по-настоящему добродетельная женщина может рассчитывать на награду. Будь я такой, наступившая старость все исцелила бы и я бы спокойно уснула рядом со спутником жизни, сознавая, что до конца исполнила свой долг и что моя преданность принесла пользу.

– Почему же ты так не поступила? Ты ведь столько простила своему первому возлюбленному! А когда я с тобой познакомился, ты, казалось, твердо решила вечно все прощать и твоему второму возлюбленному!

– У меня не хватило терпения, вера меня покинула; я уступила слабости человеческой природы, малодушию, безрассудной надежде обрести счастье, даруя его другому. Я ошиблась. Люди не прощают нам, что мы прежде проявляли самоотверженность по отношению к другим; они ставят нам это в вину и попрекают, а не хвалят; и чем больше преданности мы выказывали до знакомства с ними, тем меньше они верят в то, что мы можем быть преданы и им.

– Но разве это и в самом деле не так?

– Да, пожалуй, что так, если ты уже была жертвой многих ошибок и увлечений. Душа изнемогает, воображение меркнет, мужество уходит, силы нас оставляют. К этому я и пришла! Скажи я сейчас какому-нибудь мужчине, что способна полюбить его, я бессовестно солгу.

– Ах, ты никогда не была кокеткой, милая моя Флориани, а теперь я вижу, что тебе совсем чуждо любовстрание!

– И потому ты жалеешь меня?

– Не тебя я жалею, а себя! Ибо, вопреки всему, что ты только что говорила, а быть может, именно поэтому, я чувствую, что без памяти в тебя влюблен.

– В таком случае прощай, мой славный Сальватор, завтра же ты отсюда уедешь.

– Ты этого желаешь? Ах, если б ты и вправду того желала!

– Что ты хочешь сказать?

– Что я остался бы против твоей воли и питал бы надежду.

– Ты, кажется, вообразил, что я боюсь тебя? Прежде ты не был фатом, а теперь стал им.

– Нет, я не стал фатом; но не понимаю, почему ты хочешь меня уверить, что сделалась неувязимой? У тебя никогда не бывало мимолетных капризов?

– Никогда!

– Будто бы!

– Слушай, иногда мною овладевали неожиданные порывы, слепые, достойные осуждения! Но то не были капризы. Капризом именуют легкую интрижку, которая длится неделю... Но ведь бывает и страсть, что длится неделю!..

– Бывает и такая страсть, что длится всего час! – не помня себя, вскричал Сальватор.

– Да, бывает столь внезапное и сильное увлечение, которое, рассеиваясь, уступает место раскаянию и страху, – сказала Лукреция. – Что же до самой короткой страсти, то она порою бывает и самой неодолимой: ее оплакивают или стыдятся потом всю жизнь.

– Зачем же ее стыдиться, если она была искренней? Можно по крайней мере не сомневаться, что такую страсть разделяли.

– Нет, даже в этом случае не может быть большей уверенности, чем во всех других.

– Все, что возникает внезапно и действует неодолимо, – законно и освящено божественным правом.

– Право сильного не есть божественное право, – возразила Флориани, высвобождаясь из объятий Сальватора. – Друг мой, зачем ты оскорбляешь меня в моем собственном доме? Ведь ты не вызвал во мне любовного восторга.

– Лукреция! Лукреция! Надеюсь, ты не заколешься поутру?

– Лукреция напрасно закололась. Секст вовсе не обладал ею! Тот, кто захватил женщину врасплох, сыграл на ее чувственности, не может считаться ее возлюбленным.^[13]

– Да, ты права, милая моя Флориани, – сказал Сальватор, опускаясь на колени. – Простишь ли ты меня?

– Ну, конечно, – отвечала она с улыбкой. – Мы вдвоем, а сейчас уже полночь. У меня нет возлюбленного, и я принимаю тебя в столь поздний час. В том, что происходит с тобою, больше виноват не ты, а я сама. Стало быть, мне придется еще лет десять не видеть своих друзей! Это печально.

– О дорогая Флориани, вы плачете, я вас обидел!

– Нет, не обидел. Жизнь моя отнюдь не была целомудренна, и потому у меня нет права обижаться на грубо выраженное мужское желание.

– Не говори так, я почитаю, я боготворю тебя.

– Этого быть не может. Ты мужчина, и ты молод, вот и все.

– Топчи меня ногами, но только не говори, что я не испытываю к тебе подлинного чувства. Сердце мое во власти волнения, голова пылает, а твой отказ не только не рассердил меня, но еще больше увеличил мое уважение и любовь к тебе. Забудь о том, что я тебя огорчил. Господи, как ты бледна и печальна! Сумасброд несчастный! Я пробудил в тебе воспоминания о всех твоих бедах! Ты плачешь, горько плачешь! Я так себя презираю, что, кажется, готов покончить счеты с жизнью!

– Прости самого себя, как я тебя прощаю, – кротко сказала Лукреция, вставая и протягивая ему руку. – Я не права, что так расстроилась из-за происшествия, которое должна была предвидеть. В свое время я бы просто над ним посмеялась! Если же сегодня я плачу, то лишь потому, что уже было поверила, будто для меня началась спокойная, исполненная достоинства жизнь. Однако я ведь только недавно распрощалась со слабостями и безрассудством, стало быть, на меня еще не могут смотреть как на женщину благоразумную и стойкую. Такие ночные беседы о любви, о сердечных тайнах, откровенные признания, которые делают друг другу мужчина и женщина, весьма опасны, и если тобой овладели дурные мысли, то виновата в том я, вернее, моя неосторожность. Не станем, однако, принимать это слишком близко к сердцу, – прибавила Флориани, вытирая глаза и улыбаясь своему другу с очаровательной мягкостью. – Я должна безропотно сносить унижение, дабы искупить мои прошлые грехи, хотя грехов такого рода я никогда не совершала. Возможно, было бы лучше, будь я не страстной, а любострастной женщиной! Тогда бы я причиняла вред лишь самой себе, между тем как моя страсть разбивала не только мое собственное сердце, но и сердца других. Но что делать, Сальватор? Я никогда не отличалась философическим нравом, как некогда говорили... Да и ты тоже, мой друг, ты стоишь большего. Из уважения к самому себе никогда не добивайся от женщин наслаждения без любви! Иначе ты еще задолго до старости перестанешь быть молодым, а такое нравственное состояние – самое дурное из всех возможных.

– Ты просто ангел, Лукреция, – промолвил Сальватор. – Я тебя оскорбил, а ты разговариваешь со мною, точно мать с сыном... Позволь мне облобызать твои стопы, ибо я недостойн запечатлеть поцелуй на твоём лбу. Думаю, я никогда больше на это не решусь!

– Пойдем и запечатлеем поцелуй на лбах более невинных, – сказала она, взяв его под руку. – Пойдем ко мне в спальню.

– К тебе в спальню? – спросил он с трепетом.

– Ну да, ко мне в спальню, – подтвердила Лукреция с веселым смехом, в котором уже не осталось и следа горечи.

Пройдя вместе с Сальватором через будуар, она увлекла его в обитую белым атласом комнату, где четыре розовые кровати стояли вокруг стеганого гамака, висевшего на шелковых шнурах. Четверо детей Флориани сладко почивали в этом святилище, как бы ограждая ее висячее ложе.

– В свое время я очень любила поспать, – сказала она, – и после утомительного дня, проведенного в театре или в гостях, с трудом просыпалась ночью, чтобы взглянуть, хорошо ли спят дети. С той поры, как я вкушаю счастье, живя вместе с ними и ради них, проводя с ними все время и днем, и ночью, я приобрела иные привычки; теперь я сплю вполглаза, как птица, примостившаяся на ветке возле гнезда, и стоит только кому-нибудь из малышей пошевелиться, как я уже все слышу и вижу. Теперь ты сам убедился: стоило мне на два часа их оставить, и я была наказана, испытала огорчение. Если б я, как обычно, улеглась в десять вечера вместе с детьми, не пришлось бы мне вспоминать прошлое... Ах, это прошлое, оно мой злейший враг!

– Твое прошлое, настоящее и будущее достойны восхищения, Лукреция, и я бы, кажется, отдал жизнь, лишь бы побыть на твоём месте хоть один день. А потом бы гордился этим днем, он бы навсегда остался в моей памяти как источник гордости и счастья. Прощай! Мой друг и я уедем на заре. Позволь поцеловать твоих детей и благослови меня. Это благословение исцелит меня от скверны, и когда мы вновь свидимся, я буду достоин тебя.

Когда Сальватор Альбани вошел в отведенную ему комнату, было уже около часа ночи. Он осторожно переступил порог и на цыпочках подошел к своей кровати, боясь разбудить друга: Кароль лежал тихо, неподвижно и, казалось, спал.

Тем не менее, прежде чем задуть свечу, молодой граф, как обычно, тихонько подошел к ложу князя и слегка раздвинул полог, желая убедиться, что тот спокойно спит. К своему величайшему изумлению, он увидел, что Кароль пристально смотрит на него широко раскрытыми глазами и как будто следит за всеми его движениями.

– Да ты не спишь, милый Кароль? Я тебя разбудил?

– Я не спал, – ответил князь, и в тоне его сквозили грусть и упрек. – Я беспокоился о тебе.

– Беспокоился?! – воскликнул Сальватор, делая вид, будто не понимает, в чем дело. – Разве мы в логове разбойников? Ты, видно, забыл, что мы остановились на чудесной вилле, у людей, дружески к нам расположенных.

– Значит, мы тут *остановились!* – сказал Кароль с необъяснимым вздохом. – Этого-то я и боялся!

– Ого-го! Стало быть, твое предчувствие все еще не рассеялось? Ну, так вот, скоро ты от него избавишься. Остановка не будет долгой. Я прилягу часика на два, вздремну, и еще до восхода солнца мы тронемся в путь.

– Наконец-то свидеться и тут же разлучиться! – воскликнул князь, беспокойно ерзая на подушках. – Как странно... Я бы сказал, жестоко!

– Что? Что? О чем ты толкуешь? Ты хотел бы, чтоб мы тут задержались?

– Нет, разумеется, мне это ни к чему. Но как же ты? Меня просто пугает столь быстрое расставание после столь быстрого сближения.

– Послушай, милый Кароль, ты, видно, бредишь! – воскликнул Сальватор с деланным смехом. – Мне понятны твои подозрения и упреки, хотя они несколько рискованны... несколько

преувеличены... Ты, кажется, вообразил, что я вернулся после упоительного свидания и, насладившись приятной и легкой победой, собираюсь улизнуть, даже не попрощавшись с любезной хозяйкой, словом, уехать, не испытав ни сожаления, ни любви? Покорно благодарю!

– Я ничего подобного не говорил, Сальватор. Ты, верно, ищешь ссоры и потому приписываешь мне такие речи.

– Нет, нет, ссориться мы не станем, время для этого совсем не подходящее, спать пора. Спокойной ночи!

И, подойдя к своей кровати, Сальватор бросился на нее в самом дурном расположении духа, пробормотав сквозь зубы:

– Как ты скор, любезный! До чего ж эти добродетельные люди щедры на выдумку! Ха-ха! Все это весьма забавно!

Но смеялся Сальватор совсем невесело. Он чувствовал за собой вину и знал, что окажись Лукреция столь же сумасбродной, как он сам, упреки князя были бы вполне основательны.

Х

Каролю была присуща необыкновенная проницательность; натуры утонченные и погруженные в свой внутренний мир, обладают неким даром провидения, оно часто обманывает их, потому что усложняет истинное положение вещей, но никогда не упрощает его; зато если их догадки оправдываются, это кажется чудом.

– Ты жесток, друг мой! – сказал князь, стараясь взять себя в руки, что было ему не легко, ибо он дрожал как в лихорадке. – Видит бог, как я тревожился за тебя все эти три часа, ведь тревога тем сильнее, чем больше ты привязан к человеку. Мне невыносима даже мысль, что ты можешь совершить опрометчивый шаг. Мысль эта меня терзает, наполняет стыдом и сожалением еще сильнее, чем если бы я совершил его сам.

– Ну, этому я не верю, – сухо возразил Сальватор. – Да ты пустишь себе пулю в лоб, если в голове у тебя только зародится игривая мысль. Вот почему ты так нетерпим к окружающим!

– Стало быть, я не ошибся! – вырвалось у Кароля. – Ты склонил эту несчастную женщину к новому греху, и ты...

– Я негодай, бездельник, все что угодно! – воскликнул Сальватор, садясь в постели, раздвигая полог и глядя в упор на Кароля. – Но запомни, эта женщина – святая, и тем хуже, если у тебя недостает сердца и ума понять это.

Впервые Сальватор говорил так сурово и резко со своим другом. Он был еще слишком взволнован всем тем, что произошло в тот вечер, и не мог спокойно снести незаслуженные упреки.

Но, подавшись досаде, граф тут же горько раскаялся, увидев, что Кароль побледнел и его выразительное лицо исказилось от душевной боли.

– Друг мой, не сердись и не огорчайся! – начал Сальватор, сильно отталкиваясь ногой от стены, чтобы подкатить свою кровать к ложу князя. – Хватит уже того, что нынче вечером я причинил горе существу, которое люблю почти так же, как тебя... так же, как тебя, если только это возможно! Презирай меня, брани, я на все согласен, я того заслуживаю, но не обвиняй ни в чем эту чудесную, достойную женщину... Я все тебе сейчас расскажу.

И Сальватор, подчиняясь молчаливому приказу друга, поведал ему с полной откровенностью и со всеми подробностями о том, что произошло вечером между хозяйкой дома и им самим.

Кароль слушал его рассказ с огромным внутренним волнением, однако Сальватор, возбужденный собственной исповедью, не сразу это заметил. Описание возвышенных чувств и беспорядочной жизни Флориани поразило князя и потрясло его воображение. Мысленно он представлял ее в объятиях презренного Теальдо Соави, затем видел в роли подруги зауряд-

ного комедианта: доброта толкала ее на компромиссы, а величие души ставило в унижительное положение. Кароля оскорбляло, что Лукреция сделалась предметом грубого вожделения Сальватора, который, по его мнению, точно так же волочился бы за служанкой с постоялого двора в Изео, если бы ему пришлось провести ночь на том берегу озера. Затем князь мысленно перенесся в спальню Флориани и увидел ее в окружении спящих детей. И всякий раз он убеждался, что эта возвышенная по природе женщина вела образ жизни, недостойный ее. Его бросало то в жар, то в холод, он готов был кинуться к Лукреции, но боялся, что лишится чувств при виде нее. Когда Сальватор замолчал, лоб Кароля был покрыт холодным потом.

Разве может это тебя удивить, проницательный читатель? Ведь ты давно уже догадался, что князь фон Росвальд с первого взгляда и на всю жизнь без памяти влюбился в Лукрецию Флориани.

Я обещал, а вернее, пригрозил, что лишу себя удовольствия и не стану преподносить тебе никаких сюрпризов в ходе моего повествования. Было бы нетрудно утаить от тебя душевную тревогу моего героя и сразу описать вспыхнувшую в нем страсть, отчего она показалась бы еще более невероятной и неожиданной. Но ты вовсе не так прост, как думают, любезный мой читатель, ты знаешь человеческое сердце так же хорошо, как те, кто создает его историю, и тебе хорошо известно, быть может, даже по собственному опыту, что именно страсти, которые принято считать невозможными, как раз и овладевают человеком с особенной силой, и потому тебя бы не обманула эта наивная уловка романиста. Для чего же в таком случае испытывать твоё терпение хитроумными маневрами и коварными приемами? Ты прочел столько романов, тебе так хорошо ведомы все трюки, что я, со своей стороны, решил не морочить тебе голову, хотя ты можешь из-за этого счесть меня глупцом и остаться мною недовольным.

Почему именно эта женщина, уже не слишком молодая и не слишком красивая, чей характер был полной противоположностью характеру князя, а опрометчивые поступки, необузданные страсти, доброта души и дерзость ума казались олицетворением бурного протеста против правил света и официальной религии, словом, почему актриса Флориани, сама того не желая и даже не думая о том, произвела столь неотразимое впечатление на князя фон Росвальда? Каким образом этот человек, такой молодой и красивый, такой благочестивый и целомудренный, такой пылкий и романтический, чьи мысли, привязанности и манеры были столь изысканны, внезапно и почти без сопротивления подпал под власть женщины, так много любившей и во многом разочаровавшейся, скептически или даже враждебно относившейся к тому, что он уважал больше всего на свете, и фанатически верившей в то, что он постоянно отвергал и должен был отвергать всю жизнь? Надо ли мне говорить вам, что это труднее всего объяснить средствами логики; и вместе с тем именно это – самое правдивое в моем романе, ибо история всех разбитых сердец отводит каждому страницу, а то и целый том, повествующий о столь зловещем опыте.

Не значит ли это, что Лукреция, беседуя о любви с Сальватором Альбани и высказывая парадоксальные суждения об этом предмете, приблизилась к истине, заметив: люди с возвышенной и нежной душой обречены любить только тех, кому они сострадают и кого страшатся?

Давно уже замечено, что любовь бросает в объятия друг к другу людей самых противоположных, и когда Сальватор пересказывал юному князю несколько туманные и сумасбродные, но восторженные и, пожалуй, даже высокие представления Флориани о любви, Кароль, несомненно, почувствовал себя во власти этой устрашающей и роковой закономерности. Страх и трепет, которые он при этом ощутил, были неодолимы; вместе с тем он уже смутно предчувствовал очарование чего-то неизведанного, и все это вызвало в его бедной душе такую бурю, что он не в силах был ничего ответить другу и только сказал:

– Стало быть, мы через час уедем, отдохни хоть немного, Сальватор, мне спать совсем не хочется, и я разбужу тебя, едва только забрезжит день.

Сальватор, как всякий молодой и здоровый человек, мгновенно уснул, почувствовав облегчение после того, как открыл душу другу и поделился с ним своими чувствами. Он не был уязвлен тем, что, как выразился бы повеса, дал маху и ничего не добился от Лукреции. Граф искренне раскаивался в своем поведении; однако, зная, что она добра и прямодушна, он рассчитывал на ее прощение и не давал себе опрометчивых клятв никогда не повторять подобных попыток в отношении других женщин.

Кароль так и не сомкнул глаз: у него был сильный жар, начиналась горячка; он уже понимал, что заболевает, и пытался успокоить себя, видя в проявлениях нравственного недуга всего лишь симптомы недуга физического. «Все это – только галлюцинации, – думал он. – Последнее незнакомое лицо, встреченное во время путешествия, запечатлелось в моем мозгу и теперь неотступно меня преследует, как горячечный бред. Точно так же меня мог бы преследовать и другой человек, чей образ терзал бы мое воображение в часы бессонницы».

Занимавшийся день осветил горизонт, и Кароль поднялся; он решил не спеша одеться и лишь потом разбудить своего спутника: он чувствовал такую слабость, что ему несколько раз приходилось останавливаться и присаживаться на кровать. Проснувшись, Сальватор заметил, что щеки у князя горят, а по телу пробегает судорожная дрожь, и спросил друга, не болен ли он, но Кароль ответил, что он здоров, ибо твердо решил во что бы то ни стало уехать. Когда они выходили из комнаты, снизу донесся шум. В доме уже встали. Молодым людям надо было пройти через нижний этаж, чтобы попасть в сад, а оттуда на берег озера, где они рассчитывали найти какую-нибудь рыбацью лодку. На пороге дома они столкнулись лицом к лицу с Лукрецией.

– Куда это вы так спешите? – спросила она, протягивая руку своим гостям. – В мой экипаж уже закладывают лошадей, и Челио, который прекрасно правит, безумно счастлив, что вместо кучера сам повезет вас в Изео. Я не хочу, чтобы вы в столь ранний час переправлялись через озеро, утренний туман еще не рассеялся, он может сильно повредить, разумеется, не тебе, Сальватор, а твоему другу, который не совсем здоров. Нет! Вы и в самом деле нездоровы, господин фон Росвальд! – прибавила она, вновь беря руку Кароля и удерживая ее в своих руках, как нежная мать. – Меня только что поразило, какая у вас горячая рука, боюсь, у вас жар. Ночи и утра у нас тут холодные, вернитесь, вернитесь, я так хочу! Выпейте шоколаду, а тем временем экипаж будет готов, вы тепло укутаетесь и попадете в Изео с первыми лучами солнца, которые рассеют вредный туман над озером.

– Стало быть, любезная сирена, ваше зеркало и впрямь дурно влияет на людей? – спросил Сальватор, охотно возвращаясь в дом. – Мой друг еще вчера утверждал это, а я ему не верил.

– Если ты, любезный Улисс^[14], именуешь моим зеркалом здешнее озеро, – смеясь сказала Лукреция, – то я отвечу, что оно походит на все остальные озера: тот, кто не родился на его берегах, должен тут немного остерегаться. Однако не нравится мне, что эта рука так пылает, – прибавила она, нащупывая пульс Кароля. – До чего же она у вас маленькая, просто женская ручка... *Che manina!*⁴ – прибавила она простодушно, поворачиваясь к Сальватору. – Твой друг нездоров, обрати на это внимание! Уж я-то в таких вещах разбираюсь, у моих детей никогда не было иного врача, кроме меня самой.

Сальватор в свою очередь хотел было пощупать пульс у князя, но у того эта забота вызвала только раздражение, он резко выдернул из рук графа свою кисть, которую прежде с трепетом оставлял в ладонях Флориани.

– Прошу тебя, мой славный Сальватор, – сказал он, – не старайся убедить меня в том, что я болен, и не напоминай слишком часто, что я никогда не бываю вполне здоров. Я дурно спал, слегка возбужден, вот и все. Как только мы тронемся в путь, я тут же приду в себя. Синьора

⁴ Какая изящная рука! (*ит.*)

слишком добра, – прибавил он сквозь зубы и так сухо, как будто хотел сказать: «Я буду вам премного обязан, если вы позволите мне уехать отсюда как можно скорее».

Флориани была поражена его тоном: она с удивлением посмотрела на князя и решила, что его отрывистая речь – еще один признак лихорадки. Юношу и в самом деле сильно лихорадило, но добрая Лукреция не могла даже вообразить, что болезнь таится в его сердце и причина недуга – она сама.

Подали легкий завтрак. Сальватор принялся за еду с обычным своим аппетитом, Кароль неохотно взял чашку кофе. Он никогда его не пил, а в ту минуту ему тем более не хотелось кофе. Однако он чувствовал, что силы быстро оставляют его, и решил искусственно взбодрить себя, чтобы скрыть недомогание и уехать.

Ему и в самом деле показалось, что после этого возбуждающего напитка он почувствовал себя лучше, и, видя, как Сальватор, обо всем уже позабыв, слишком нежно и многословно прощается с Флориани, он ощутил нетерпение; Кароль едва не прервал излияния друга, он лишь с трудом подавил досаду и сдержался. Наконец экипаж покатиł по песчаной дорожке мимо дома, и красавец Челио, чуть не прыгая от радости, взял в руки вожжи и стал править двумя красивыми корсиканскими лошадками, запряженными в легкую коляску. Преданный слуга сидел рядом с мальчиком на козлах и внимательно следил за ним.

Расставаясь с Лукрецией, граф Альбани, по-настоящему любивший ее, почувствовал неподдельную грусть и всю силу своей привязанности, что, по своей привычке, он и не замедлил выразить самым пылким образом. Понизив голос, он бесчисленно просил у нее прощения, а потом, преодолев волнение, которое невольно охватывало его при мысли о своей вине, он с нескрываемым удовольствием принялся целовать гладкие щеки, нежные руки и бархатистую шею своей очаровательной приятельницы. Она же без ложного стыда, но и без всякого кокетства сносила это нежное, почти сладострастное прощание и, по мнению Кароля, проявляла слишком много снисходительности либо недопустимой рассеянности, так что ему в эту минуту показалось, будто он готов ее возненавидеть. Чтобы не смотреть на то, как Сальватор на прощание почти с нескрываемой страстью обнимает Флориани, князь откинулся в глубь коляски и отвернул голову. Но когда экипаж тронулся, он увидел возле самой дверцы лицо Лукреции. Она дружески кивала ему и протягивала коробку с шоколадом, которую он машинально принял из ее рук с низким, но ледяным поклоном, а затем со злостью швырнул на переднее сиденье.

Сальватор этого не видел. Высунувшись из коляски, он посылал воздушные поцелуи Лукреции и ее маленьким дочерям: полуодетые девочки выскочили из своих кроваток и грациозно махали ему вслед красивыми голыми ручонками.

Когда перед графом Альбани замелькали одни только деревья, сквозь которые еще просвечивали стены виллы, он почувствовал, что его доброе, ветреное, но искреннее, как у всякого итальянца, сердце готово разорваться от горя. Он прикрыл лицо носовым платком и пролил несколько слезинок. Потом, устыдившись своей слабости и боясь показаться смешным, Сальватор вытер глаза, повернулся к князю и с легким смущением проговорил:

– Не правда ли, теперь ты и сам видишь, что Флориани совсем не такая, как тебе казалось?

Однако слова эти замерли у него на устах, когда он увидел искаженное и смертельно бледное лицо своего друга. Губы и щеки Кароля были белы как мел, зубы плотно сжаты, а потускневшие глаза неподвижно уставились в пространство. Сальватор тщетно звал его, тщетно тряс за плечи, юноша ничего не чувствовал и не слышал: он потерял сознание. Несколько мгновений граф растирал его руки, надеясь привести в чувство. Потом, видя, что князь холоден и неподвижен, как мертвец, ощутил панический страх. Он окликнул Челио, попросил остановить коляску и распахнул все дверцы, чтобы впустить побольше воздуха. Но все оказалось напрас-

ным: Кароль почти не подавал признаков жизни, он только изредка глухо стонал и судорожно вздрагивал.

Челио, унаследовавший от матери мужество и присутствие духа, взобрался на козлы, стегнул лошадей и снова привез князя Кароля в тот дом, где тому по воле рока предстояло изведать новую жизнь.

XI

Конец предыдущей главы, без сомнения, позволил вам, любезные читатели, догадаться, что внезапная болезнь вынудит князя фон Росвальда остаться на вилле Флориани. Прием, разумеется, не новый, вот почему я и не обхожу его молчанием.

Если бы я утаил от вас все подробности, разве показалось бы вам правдоподобным продолжение этой истории? Бесспорно, в сильных страстях есть нечто роковое, но возникают и проявляются эти роковые страсти в самых естественных обстоятельствах. Начавшаяся болезнь угнетающе подействовала на Кароля и ослабила его волю, помешала ему противиться зарождавшейся страсти; если бы не это, он, вероятно, устоял бы перед натиском столь необъяснимого и безрассудного чувства.

Однако он не устоял, потому что и в самом деле был уже тяжело болен, и Флориани несколько недель почти не отходила от его изголовья. Эта чудесная женщина из дружбы к Сальватору Альбани, а также следуя законам гостеприимства, которые она свято чтит, сочла своим долгом ухаживать за больным князем так, как она ухаживала бы за лучшим другом или за собственным ребенком.

Поистине само Провидение послало Каролю в пору трудного испытания женщину, которая больше, чем кто-либо другой, была способна выходить и спасти его. У Лукреции Флориани был необыкновенный дар постигать состояние больных и безошибочно угадывать, как именно их лечить. Истоки этого дара были связаны с воспоминаниями детства. В том самом доме, хозяйкой которого она теперь сделалась, Лукреция десятилетней девочкой была служанкой, да, простой служанкой у своей крестной матери, госпожи Раньери, женщины слабой и нервической, за которой она ходила с любовью, преданностью и умением, удивительными для ее возраста. Это и послужило первопричиной привязанности, которую добрая дама испытывала к крестьянской девочке: она воспитала ее как барышню и впоследствии хотела выдать за собственного сына.

Таким образом, Лукреция с ранних лет приучилась ухаживать за больными и в случае надобности заменять им врача. Впоследствии не раз болели ее друзья, дети и слуги, как это случается в жизни каждого, и она сама ходила за ними, что делает далеко не каждый. Упорно думая над тем, как лучше помочь больным, внимательно и настойчиво изучая предписания докторов, наблюдая, к каким результатам приводит та или иная метода лечения, она постепенно составила себе довольно верное представление о различных организмах и хранила в своей памяти множество симптомов всевозможных недугов. Лукреция помнила, какой вред нанесли здоровью милой ее сердцу госпожи Раньери невежественные итальянские лекари, и была даже убеждена, что они уморили бедную женщину, после того как сама она уехала из этих мест. Вот почему она решила не приглашать врачей к заболевшему князю, а самолично взялась его лечить.

Сальватора очень пугала ответственность, которую Флориани брала на себя и которая тем самым ложилась и на него. Но смелая и решительная женщина настояла на своем. Она удалила из комнаты больного его заботливого друга, потому что этот славный малый утомлял ее своей постоянной тревогой и сомнениями.

– Ступай к детям, – сказала она ему, – присматривай за ними, развлекай их, гуляй, позабудь о том, что твой друг болен; поверь, твое ребяческое беспокойство и излишняя заботливость ему не нужны. Я сама займусь больным и отвечаю за него. Я ни на минуту его не оставлю.

Сальватор с большим трудом сохранял спокойствие. Крайняя слабость Кароля пугала его и, казалось, требовала неотложных и действенных мер. Но Флориани не раз приходилось наблюдать симптомы нервных недугов, ей достаточно было взглянуть на тонкие руки князя, на белую, почти прозрачную кожу, на мягкие шелковистые волосы, на всю его хрупкую фигуру, чтобы установить между его болезнью и болезнью госпожи Раньери сходство, которое не может ускользнуть от внимательных глаз женщины.

Прежде всего она постаралась создать для больного спокойную обстановку, следя, чтобы он при этом не слабел; она была убеждена, что столь утонченные натуры поддаются гипнотическому влиянию высшего порядка, непонятному людям заурядным, и стала часто приводить к постели князя своих детей, убедившись прежде, что болезнь его не заразительна. Она считала, что присутствие этих юных, здоровых и крепких созданий окажет таинственное и благотворное воздействие на нравственное и физическое состояние больного, поддержит угасающее пламя жизни в его груди...

Кто решится утверждать, что она заблуждалась на сей счет? Возможно, воображение играет немалую роль в ходе нервных болезней, но бесспорно одно: Каролю легче дышалось, когда дети были рядом и чистое дыхание малышей, соединяясь с дыханием их матери, как бы очищало и освежало воздух, который он жадно ловил пылающей гортанью. Достаточно хорошо известно, как дурно себя чувствуют больные, когда к ним приближаются люди, которые вызывают в них отвращение или раздражают их; следует помнить также и о том, что удовольствие, которое больной испытывает, когда за ним ухаживают или когда его просто окружают милые ему люди с приятной внешностью, улучшает его самочувствие. Если бы в наш последний час вместо зловещих атрибутов смерти возле нашего изголовья витали небесные видения и нас баюкала бы божественная музыка, мы без всяких мук и тревоги сносили бы страшные часы агонии. Кароль, которого преследовали тягостные кошмары, порою пробуждался, охваченный ужасом и отчаянием. И тогда он безотчетно искал прибежища от терзавших его призраков. По-матерински нежные руки Флориани служили ему тогда надежным оплотом, и он спокойно склонял свою больную голову к ней на грудь. Потом, открыв глаза и обводя блуждающим взором комнату, он видел вокруг красивые, смысленные и любящие лица Челио и Стеллы, которые улыбались ему. Машинально и он улыбался им, повинясь учтивости, воспоминание о кошмаре рассеивалось, и больной забывал свой страх. Совсем иные видения овладевали его ослабевшим от недуга воображением. Он смотрел на малютку Сальватора, чье розовое личико придвигали к его лицу, и ему казалось, будто за спиной у младенца вырастают крылья; Каролю чудилось, что это прелестный херувим парит над его головой, овеивая ее свежестью. У Беатриче был необыкновенно нежный голосок, и когда она тихонько разговаривала со своими братьями, ему казалось, будто она поет. В чистом, красивом тембре ее голоса Кароль различал певучие интонации, доступные только его слуху; однажды, когда девочка тихонько препиралась из-за игрушки со своей сестрой, князь к величайшему удивлению Флориани заметил, что Беатриче поет Моцарта и при этом так верно, как никто другой.

– У нее редкий дар, – прибавил он, с усилием подбирая слова, чтобы лучше выразить свою мысль. – Она, без сомнения, часто слушает музыку, но запоминает лишь Моцарта. И неизменно воспроизводит голосом ту или иную музыкальную фразу этого композитора, и только его.

– А Стелла тоже поет? – спросила Лукреция, стараясь понять Кароля.

– Она иногда напевает Бетховена, – отвечал он, – но далеко не всегда и не так верно, не так благозвучно.

– Ну а Челио, он поет когда-нибудь?

– Челио я слышу только тогда, когда он ходит. В его позах, во всех его движениях столько изящества и гармонии, что пол как будто звенит под его ногами и вся комната наполняется долгими вибрирующими звуками.

– Ну а этот малыш? – спросила Лукреция, поднося к лицу больного малютку Сальватора. – Он ведь самый шумный и, случается, кричит. Не терзает ли он ваш слух?

– Нет, он несколько не терзает мой слух, я его просто не слышу. Должно быть, я стал глух к шуму и улавливаю теперь только мелодию и ритм. Когда этот херувим у меня перед глазами, – прибавил он, указывая на крошку, – мне чудится, будто у моей постели возникает пелена, сотканная из ярких и нежных красок. Этот ливень света никогда не облекается в определенную форму, но он прогоняет дурные видения. О, не уводите, пожалуйста, отсюда детей. Пока они тут, я не испытываю страданий!

До сих пор Кароль жил с мыслью о близкой кончине. Он настолько свыкся с нею, что иногда, еще до болезни, ему начинало казаться, будто он уже принадлежит смерти и каждый день отсрочки – только счастливая случайность. Он даже охотно шутил по этому поводу; однако если мысль о конце посещает нас, пока мы здоровы, мы способны принимать ее с философическим спокойствием, но если она завладевает умом человека, ослабевшего от болезни, то лишь в редких случаях не страшит его. По мне, это самое печальное, что таит в себе смерть: ведь она настигает нас, когда мы так подавлены и так унижительно малодушны, что не решаемся взглянуть ей прямо в глаза, и потому она пугает даже людей стойких и мужественных от природы. С князем произошло то, что происходит с большинством больных: когда ему пришлось вплотную столкнуться с мыслью, что он умрет во цвете лет, сладостная меланхолия, которая прежде была его уделом, преобразилась в мрачную скорбь.

Если бы в этих обстоятельствах за ним ухаживала его мать, она бы старалась поддерживать мужество Кароля прямо противоположными средствами, нежели те, к каким прибегала Флориани. Княгиня беседовала бы с ним о лучшей жизни, окружила бы умирающего суровыми атрибутами религии. Она призвала бы на помощь священника, и Кароль, подавленный всей этой торжественной обстановкой, принял бы неизбежность конца и покорился судьбе. Но Лукреция действовала совсем иначе. Она старалась отвлечь больного от мысли о смерти. А когда он не мог скрыть, что считает свою смерть скорой и неизбежной, она мягко вышучивала юношу и старалась убедить, что его здоровье не внушает ей никаких опасений, хотя на самом деле нередко тревожилась.

Она вела себя так осмотрительно и была внешне так спокойна, что в конце концов завоевала полное доверие больного. Стремясь вселить бодрость в Кароля, она не призывала его презирать жизнь (призывать к этому больных уже слишком поздно, надеяться на такое присутствие духа с их стороны не следует, и подобные призывы часто лишь ускоряют конец), а поддерживала в нем волю к жизни, побуждая верить в выздоровление; вскоре она заметила, что князь не только привязан, но привязан страстно к земному существованию, которое он будто бы так презирал, пока ему ничто не угрожало.

Сальватор, полагавший, что у его друга неостанет душевных сил противостоять опасному недугу, был во власти страха.

– Каким образом ты надеешься его спасти? – спрашивал он у Флориани. – Ведь уже очень давно, с того самого дня, как умерла его мать, Кароль утратил вкус к жизни, он медленно хиреет и угасает. Мысль о близкой смерти даже приносила ему своего рода удовлетворение, и это заставляло меня считать, что силы его уже подорваны и когда он упадет, то больше не поднимется.

– Ты заблуждался и все еще заблуждаешься, – отвечала Лукреция. – Никто не хочет умирать, если только он не маньяк, а твой друг в здравом уме. У него крепкая натура, а нервное потрясение, делавшее его таким мрачным, пройдет, когда минует кризис, жертвой которого он стал. Уверяю тебя, он хочет жить и будет жить.

Кароль и в самом деле хотел жить, жить ради Флориани. Разумеется, он не отдавал себе в этом отчета, и за те две недели, что длилась опасная горячка, он совсем забыл о сильном волнении, вызвавшем ее. Но любовь к Лукреции, хотя он этого не сознавал, зрела и росла в его душе: так зреет и растет любовь покоящегося в колыбели младенца к своей кормилице. Безотчетная, нерасторжимая и властная привязанность завладела скорбной душой Кароля и вырвала его из холодных объятий смерти. Он подпал под власть этой женщины, которая видела в нем только больного юношу, нуждавшегося в уходе, и перенес на нее всю ту любовь, какую прежде испытывал к матери, и всю ту любовь, какую, как ему казалось, испытывал к своей невесте.

В горячечном бреде им овладела навязчивая идея: ему чудилось, что материнская любовь совершила чудо и княгиня вышла из могилы, дабы помочь сыну в тягостные часы смерти, и он постоянно принимал Лукрецию за собственную мать. В силу этой иллюзии он покорно выполнял все ее предписания, внимательно прислушивался к каждому слову, совершенно забыв о том недоверии, какое она ему сперва внушала. Когда у него так теснило грудь, что он почти не мог дышать, он склонял голову на ее плечо и порою подолгу дремал в такой позе, даже не подозревая о своем заблуждении.

Наконец наступил день, когда к Каролю вновь возвратился рассудок; накануне сон его был крепок и целебен, поутру он раскрыл глаза и с удивлением стал пристально вглядываться в лицо этой женщины, побледневшее от усталости и бессонных ночей, которые она проводила, выхаживая его. Казалось, князь пробудился от долгого сна, он спросил Лукрецию, неужели его недуг продолжается уже много дней и неужели это ее он все время видел у своего изголовья.

– Господи боже! – воскликнул Кароль, когда Флориани ответила на его вопросы. – До чего вы похожи на мою матушку! Сальватор, – прибавил он, узнавая своего друга, который приблизился к его ложу, – правда ведь, госпожа Флориани походит на мою мать? Меня это поразило, как только я ее увидел.

Сальватор не считал возможным перечить больному, хотя не находил ни малейшего сходства между полной сил красавицей Лукрецией и высокой, худой, чопорной княгиней фон Росвальд.

В другой раз Кароль, все еще опиравшийся на руку Флориани, попытался сделать несколько шагов самостоятельно.

– Я уже чувствую себя гораздо лучше и крепче, – сказал он. – Я вас и так слишком утомил. Сам не понимаю, как мог я до такой степени злоупотреблять вашей добротой!

– Нет, нет, обопрись крепче на мою руку, дитя мое, – приветливо сказала Флориани, которая легко привыкала говорить «ты» тем, кто вызывал в ней симпатию.

Надо сказать, что она незаметно для самой себя начала относиться к Каролю почти как к сыну.

– Может, вы и в самом деле моя матушка? Неужели это возможно? – спросил Кароль, у которого все еще мешались мысли в голове.

– Да, да, считай, что я для тебя мать, – отвечала она, даже не подумав, что Каролю эти слова могут показаться кощунственными. – Не сомневайся, сейчас я готова полностью заменить тебе мать.

Кароль хранил молчание. Потом глаза его наполнились слезами, и он заплакал как ребенок, прижимая к губам руки Лукреции.

– Милый мой сын, – сказала она, несколько раз поцеловав его в лоб, – не нужно плакать, это может вас сильно утомить. Если вы думаете о своей матери, знайте, что с неба она видит вас и благодарит Бога за ваше скорое выздоровление.

– Вы ошибаетесь, – возразил Кароль. – С высоты небес моя матушка уже давно призывает меня к себе, требует, чтобы я присоединился к ней. Я это слышу, но у меня, неблагодарного, недостает мужества расстаться с жизнью.

– Как можете вы говорить такие ужасные вещи? Вы рассуждаете, точно малый ребенок, – сказала Флориани спокойно и ласково, как будто журила Челио. – Если Господь Бог хочет, чтобы мы жили на земле, наши родители не смеют призывать нас в мир иной. Они этого не должны, да и не хотят делать. Вам просто померещилось: когда человек болен, ему может всякое померещиться. Если бы ваша матушка могла сделать так, чтобы вы ее услышали, она бы сказала, что вы еще слишком мало прожили и не вправе с ней соединиться.

Кароль с трудом повернулся к Лукреции, его, должно быть, поразило, что она выговаривает ему. Некоторое время он смотрел на нее, а затем, словно не расслышав или не поняв, что она говорит, воскликнул:

– Нет, я не в силах умереть! Ты, ты удерживаешь меня здесь! Я не могу тебя покинуть! Пусть матушка простит меня за то, что я хочу остаться с тобой!

Совершенно обессилев от волнения, он упал на руки Флориани и опять забылся.

ХП

Однажды вечером, когда уже почти поправившийся князь, казалось, мирно дремал, Флориани, уложив детей спать, сидела вместе с Сальватором на террасе и наслаждалась прохладой.

– Милая Лукреция, – начал граф, – пожалуй, нам пора уже обсудить кое-какие житейские дела; ведь скоро почти три недели мы живем в каком-то кошмаре, наконец-то он рассеивается, благодаря Богу – вернее, следовало бы сказать, благодаря тебе, ибо это ты спасла моего друга, и отныне, помимо привязанности, я буду испытывать к тебе вечную благодарность. А теперь скажи, что станем мы делать, когда наш дорогой Кароль будет в силах продолжать путешествие?

– Ну, до этого еще далеко! – ответила Флориани. – Не думай, что он через две недели сможет пуститься в дорогу. Пока что он только с трудом прогуливается по саду, а тебе отлично известно, что силы возвращаются к нам гораздо медленнее, чем уходят.

– Допустим, что до его полного выздоровления должен пройти еще месяц! Однако все имеет конец, не можем мы вечно обременять тебя своим присутствием, когда-нибудь надо будет и расстаться!

– Разумеется. Но только я хочу, чтобы произошло это как можно позднее. И несколько вы меня не обременяете. Удовольствие видеть твоего друга здоровым вполне вознаграждает меня за все заботы; к тому же он так пылко, так мило и деликатно выражает мне свою признательность, что я, кажется, начинаю любить его почти так же сильно, как ты. Вполне естественно, что человек ухаживает за теми и старается утешить тех, кого любит. Вот почему не стоит так уж меня благодарить.

– Ты, видно, не хочешь меня понять, бесценный друг. Меня тревожит будущее!

– Что именно? Здоровье князя? Но болезнь не принесла ему серьезного вреда. За это время я к нему присмотрелась: организм у него на редкость крепкий. Он, пожалуй, переживет нас с тобой!

– Теперь и я готов в это поверить. На сей раз я убедился, какой запас сил таится в этих нервических натурах! Но подумала ли ты, Лукреция, о его душевном состоянии, о том, что его ждет?

– Да при чем тут я?.. Почему ты меня об этом спрашиваешь?

– Конечно, нет ничего удивительного, что такая прямодушная и благородная женщина, как ты, может быть наивна до слепоты. И все-таки очень странно, что ты меня не понимаешь.

– Тем не менее я и в самом деле не понимаю. Послушай, говори яснее.

– Говорить яснее о таком деликатном предмете, да еще с человеком, который ничем тебе не желает помочь! Куда как просто! И все же ничего не поделаешь, придется. Так вот: Кароль любит тебя!

– А как же иначе? Я и сама его люблю. Но если ты пытаешься меня уверить, будто он влюблен, то я не могу серьезно отнестись к твоим опасениям.

– Дорогая Лукреция, не стоит этим шутить! Когда имеешь дело с такой глубокой и цельной натурой, как у моего бедного друга, тогда все серьезно. Больше того, весьма и весьма серьезно!

– Нет, нет, Сальватор, ты заблуждаешься. Если б ты сказал, что твой друг питает ко мне глубокую дружбу, сильную, если угодно, пылкую признательность, я бы ответила, что это вполне возможно, ибо он человек необыкновенно мягкий и благородный. Но если ты утверждаешь, что этот юноша влюбился в твою уже далеко не молодую приятельницу, я скажу тебе в ответ: это немыслимо! Ты обратил внимание на то, что каждое слово, которое он адресует мне, сопровождается крайним волнением: это – следствие его слабости и еще не изжитой до конца нервной экзальтации. Ты не раз слышал, в каких восторженных выражениях он благодарит меня за то небольшое, что я для него делаю: это – следствие благородной привычки возвышенно мыслить и возвышенно изъясняться; красноречие вообще свойственно людям с прекрасной душой, а у Кароля эти природные качества получили еще большее развитие благодаря широкой образованности и хорошим манерам. Но думать, что он меня любит? Какое безумие! Ведь он меня даже не знает, а если бы знал, если бы ему была известна моя жизнь, он бы просто боялся меня, бедный мальчик! Огонь и вода, небо и земля не столь не схожи, как мы с ним.

– Небо и земля, огонь и вода – стихии противоположные, но в природе они постоянно сливаются или готовы слиться. Облака и утесы, вулканы и моря, сталкиваясь, как бы сплетаются в тесном объятии; в вечных катаклизмах они одновременно разрушаются и гибнут. Так что твоё сравнение только подтверждает мою мысль, и мои опасения должны стать для тебя понятными.

– Все это очень поэтично, но не имеет никакой почвы! Говорю тебе, Кароль, вероятно, стал бы меня презирать и ненавидеть, если бы узнал, какая грешница ходила за ним, как сестра милосердия. Из твоих постоянных рассказов мне известны его нравственные правила и воззрения, потому что, должна признаться, сам он никогда со мной на такие темы не беседовал. Но тебе-то ведь хорошо известны его взгляды и его нрав. Как же ты можешь допустить, что между нами возможны близкие отношения? Полно, я прекрасно знаю, что станет он думать обо мне, когда его здоровье полностью восстановится и к нему возвратится ясность суждений. Я не строю на сей счет никаких иллюзий! Через полгода в Венеции, или в Неаполе, или же во Флоренции кто-нибудь начнет в его присутствии рассказывать о моих достойных сожаления романах и о тех уж вовсе неприглядных похождениях, какие мне приписывают, ибо чего только не придумывают о людях обеспеченных! И тогда... вспомни о том, что я тебе сейчас говорю! Ты увидишь, твой друг сделает слабую попытку вступить за меня, потом примется горестно вздыхать, а под конец скажет: «Как жаль, что так чернят эту славную женщину, ведь я питаю к ней самые дружеские чувства и глубокую признательность!» Вот какое воспоминание оставит по себе в сердце Флориани этот гордый юноша. Воспоминание сладостное, но печальное; однако ни на что другое я не претендую. Как всегда, мне мила только правда. Ты прекрасно знаешь, Сальватор: у меня достанет сил, чтобы безропотно принимать последствия моего прошлого, они меня не смущают и не оскорбляют, ибо ни в какой мере не нарушают той душевной ясности, какая живет во мне.

– Твои слова переполняют меня грустью, милая Лукреция, – сказал Сальватор, с нежностью пожимая ее руку, – но все это верно за одним лишь исключением! Да, мой друг покинет тебя, уедет отсюда, как только у него хватит на это сил, а произойдет это, едва он поймет все, что происходит в его душе. Да, он станет прислушиваться к словам глупцов, которые будут описывать твою жизнь, ничего о ней толком не зная, и к словам низких завистников, которые будут клеветать на тебя. Да, он станет страдать из-за этого и горестно вздыхать! Но я никак не могу согласиться с тем, что на том все кончится, что боль его исчезнет от нескольких слов

и что, призвав на помощь разум и волю, он отбросит всякое воспоминание о тебе. Отныне Кароль еще более несчастлив, чем прежде, причем несчастлив навсегда, хотя сам он этого еще не замечает в опьянении первой любви!

– Ловлю тебя на слове! – воскликнула Лукреция, внимательно слушавшая графа. – Ты упомянул о первой любви. Но от тебя же самого мне известно, что я не первая его любовь, а потому если даже предположить, как ты утверждаешь, что он меня любит, то это не так уж страшно. Разве ты не рассказывал мне, что Кароль был помолвлен с красивой девушкой его круга, что ее смерть оставила его безутешным и он, быть может, никогда в жизни не полюбит другую женщину?.. Именно об этом ты твердил мне в первые дни после вашего приезда; если это правда, то он не мог меня полюбить, если же он все-таки влюбился, то, вполне возможно, другая женщина изгладит мой образ из его памяти.

– А если чувство к тебе будет жить в нем еще пять или шесть лет! Ведь когда умерла Люция, Каролю было восемнадцать, а до встречи с тобою он и смотреть не хотел ни на одну женщину.

– Как ты можешь сравнивать то его чувство с предполагаемым чувством ко мне! Это совершенно разные вещи! Вполне понятно, что он целых шесть лет оплакивал утрату ангельского создания: ведь она была под стать ему, долг и сердечная склонность предписывали Каролю предпочитать эту девушку всем остальным! И совсем другое дело я, увядающая театральная дива... вдова, потерявшая нескольких... любовников (мне никогда не приходило в голову их считать!)... Полно, не пройдет и двух месяцев, как он обретет прежнее спокойствие, если даже допустить, что он его потерял. Послушай, Сальватор, довольно об этом! Твои предположения огорчают меня и даже причиняют некоторую боль. Почему так случается, что твоя злополучная приятельница, к которой ты все эти три недели неизменно проявлял драгоценное доверие и братскую привязанность, непременно оказывается предметом грубых вожделений мужчин, и даже самого целомудренного и болезненного из твоих друзей? Неужели после всех моих заблуждений, которые я искупила ценою тяжких мук и, уповаю, в какой-то мере исправила несколькими добрыми делами, я не вправе рассчитывать на то, чтобы благовоспитанные молодые люди относились ко мне как к старшему и нежному другу? Кем предначертано, что я должна играть для них роль змея-искусителя, когда во мне не больше лукавства, чем в Стелле или Беатриче? Разве я кокетка? Разве я все еще хороша собой? *Corpo di Dio!*⁵ – как любит говорить мой старик отец. Я изо всех сил стараюсь не вызывать ни страха, ни зависти и мечтаю лишь о том, чтобы меня оставили в покое. Господи! Я прошу только одного: отдыха, забвения. Вот о чем я тайно вздыхаю, вот о чем громко молю, как мучимый жаждой олень, ищущий водопоя. Когда же, наконец, слово «любовь» перестанет звучать в моих ушах как фальшивая нота?

– Мой бедный, мой милый друг, – сказал Сальватор, – напрасно ты восстаешь против неизбежности, тебе еще долго придется противиться если не собственным страстям, то домогательствам мужчин, которые будут встречаться на твоём пути. Чего только я не делаю, чтобы сохранять спокойствие рядом с тобою, но даже мне это не всегда удается, а ведь я...

– Как, ты опять за старое! – воскликнула Флориани с простодушным, почти комическим отчаянием. – И ты, Брут?^[15] Лучше убей меня, и тотчас же. По крайней мере я буду избавлена от этих вечных и назойливых признаний!

– Нет! Нет!.. Со мною кончено, – поспешил успокоить ее Сальватор, боясь, что мгновенная веселость Лукреции сменится печалью. – Я никогда больше ничего не скажу тебе о своих чувствах, никогда не заговорю о себе, даже если это будет угрожать мне гибелью. Обещаю тебе, клянусь! Но не надейся, что так станут вести себя другие мужчины: напрасно ты будешь утверждать, что постарела, они по-прежнему станут любоваться тобой, любоваться бьющей в тебе ключом жизнью. Даже если ты всегда будешь так небрежно причесываться, будешь постоянно

⁵ Черт побери! (ит.)

ходить в этом домашнем платье, которое походит скорее на одеяние кающегося грешника, чем на женский наряд, ты вопреки всему будешь казаться красивее других женщин! Кто, кроме тебя, может позволить себе появляться при ярком свете дня небрежно одетой, подставлять руки и шею ярким лучам солнца, утомлять глаза и утрачивать свежесть кожи, проводя бессонные ночи у изголовья больного (а ведь ты ко всему еще воспитала чуть не полдюжины детей, работала, огорчалась, страдала... чего только ты не пережила!), и после всего этого воспламенить воображение мужчин – и таких целомудренных, как мой друг Кароль, и таких умудренных опытом, как твой друг Сальватор!

– Вот что, если ты не оставишь этого тона, – вышла из себя Флориани, – если ты и дальше будешь утверждать, что меня еще ждет впереди страсть, я, кажется, способна нынче же вечером плеснуть себе в лицо кислотой или еще какой-нибудь отравой, чтобы встать поутру безобразной.

– Неужели ты и вправду можешь столь жестоко поступить с собой? – растерянно спросил Сальватор.

– Да нет, это я просто так сказала, – бесхитростно призналась Лукреция. – Я достаточно страдала, и новые страдания мне ни к чему.

– Но предположим, что можно обезобразить себя, не рискуя ослепнуть и не испытывая боли... Ведь ты все-таки этого не сделаешь?

– Не сделаю, потому что я по натуре жизнерадостна, к тому же я актриса и люблю красоту; а потом я не хочу, чтобы перед глазами у моих детей было что-либо уродливое. Мне бы самой стало страшно, если б я вызывала у других ужас и отвращение. И все же, уверяю тебя, если на одну чашу весов передо мной положат муки новой страсти, а на другую – печальную необходимость стать безобразной, я колебаться не стану.

– Ты говоришь искренне, и меня это пугает. Такая женщина, как ты, на все способна! Гони от себя эти сумасбродные мысли, Лукреция! Не уподобляйся некоей прусской принцессе^[16], сестре Фридриха Великого, которая, как гласит молва, обезобразила свое лицо, чтобы навсегда избежать замужества и сохранить верность возлюбленному.

– Поступок, достойный восхищения, – заметила Флориани. – Ведь большей жертвы для женщины не существует.

– Да, конечно, однако история еще гласит, что, уничтожив свою красоту, она одновременно подорвала здоровье и нрав у нее стал капризный и злой. А потому оставайся красивой, иначе ты рискуешь утратить и доброту, а она тоже немалое сокровище.

– Друг мой, время все поставит на свои места, – сказала Лукреция. – Мало-помалу, даже не думая, даже, быть может, не заметив этого, я подурнею и тогда, надеюсь, наконец-то почувствую себя счастливой. Печальный опыт убедил меня в том, что страсти не приносят счастья, но я все еще лелею мечту о спокойном и чистом существовании, я уже сейчас предчувствую такую возможность, и она сулит мне тихую радость. А потому не говори мне, что твой друг нарушит эту радость своими муками. Я сделаю так, что он сам не захочет меня любить.

– Но как ты этого добьешься?

– Поведаю ему всю правду о себе. Помоги же мне в этом. Не скрывай от Кароля ничего... Да что это я говорю? Неужели я так безрассудна, что поверила тебе? Не может он меня любить! Разве не носит он у себя на груди портрет невесты?

– Ты думаешь, он и вправду любил ее? – спросил Сальватор после короткого молчания.

– Да ведь ты сам мне сказал, – ответила Лукреция.

– Я прежде в это верил, потому что Кароль в это верил и весьма красноречиво о том говорил, – продолжал Сальватор. – Но, между нами говоря, ведь мужчина, не обладавший женщиной, способен любить ее только умозрительно. Настоящая любовь не может вечно питаться одними желаниями да сожалениями, не правда ли, друг мой? Когда я теперь вспоминаю об отношениях, существовавших между князем Каролем и княжной Люцией, я утверждаюсь в

мысли, что любовь существовала только в их воображении. Они и виделись-то всего пять или шесть раз, да к тому же в присутствии родителей!

– И это все?

– Да, Кароль мне сам рассказывал. До помолвки они были едва знакомы, а вскоре она умерла, так что у них даже не было времени узнать друг друга.

– Ну а ты, ты видел эту княжну?

– Однажды видел. Она была красивая девушка, хрупкая, бледная, чахоточная... Я сразу заметил, хотя об этом тогда еще никто не говорил. Она была очень изящна и элегантна; одевалась изысканно и держала себя весьма надменно, хотя, на мой взгляд, слишком уж манерно; у нее были голубые глаза, пушистые волосы, матовая кожа, ангельское выражение лица и любовь к картинным позам. Мне она не понравилась. Слишком уж она была романтична и высокомерна; она принадлежала к числу тех женщин, которым мне всегда хочется сказать: «Когда говоришь, раскрывай рот; когда ходишь, ступай по земле; когда ешь, хорошо прожевай пищу; если уж плачешь, пусть из твоих глаз льются слезы; если играешь на фортепьяно, прикасайся к клавишам; смейся всей грудью, а не одними бровями; когда здороваешься, отвечивай людям поклон, а не кивай подбородком. Если ты мотылек или одуванчик, лети по ветру, а не щекочи нам глаз или ухо. И последнее: коли ты неземное создание, то так и скажи!» Словом, она раздражала меня, ибо только походила на женщину, на самом же деле была каким-то бесплотным существом. Она обожала украшать себя цветами и так безбожно душилась, что в тот день, когда я имел честь сидеть за обедом возле нее, у меня нестерпимо разболелась голова. Она благоухала, точно набальзамированный покойник, а по мне уж лучше саше в шкафу, нежели такая женщина рядом: ведь тогда ты по крайней мере не обязан все время вдыхать благовония.

– Я не могу удержаться от смеха, представляя себе облик этой княжны, – сказала Флориани, – однако чувствую, что ты сильно преувеличиваешь и рисуешь ее такой под влиянием досады. Вижу, что ты не понравился княжне Люции. Должно быть, твои комплименты показались ей недостаточно изысканными. Но не будем тревожить покой усопших и отнесемся с должным уважением к тому образу, который живет в чистой душе князя Кароля. Больше того, я хочу, чтобы он подробно рассказал мне о ней: это оживит в нем воспоминание о былой любви, а сейчас оно для него окажется благотворным. Доброй ночи, друг мой! Будь покоен, Кароль способен полюбить только сифиду!

ХІІІ

Лукреция чистосердечно уверяла себя, что Сальватор заблуждается. Она знала, что граф и сам питает к ней привязанность сильную, но, если можно так выразиться, спокойную, привязанность искреннюю, но не безрассудную, такую, что не налагает цепей и не мирится с ними, – словом, привязанность глубокую, но великодушную, которая допускает и шалости на стороне, и мимолетные измены, была бы только охота да случай представился.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

В начале мая 1846 года Жорж Санд заключила договор с либеральной газетой «Курье Франсэ», где с 25 июня по 17 августа с небольшим перерывом и печатается ее новый роман «Лукреция Флориани». В марте следующего года он выходит отдельным томом у издателя Дезессара.

2.

В введении своем молил писатель... – Неточная цитата из Сатиры IX теоретика французского классицизма Никола Буало-Депрео (1636–1711).

3.

Льюис Мэтью Грегори (1775–1818) – английский романист и поэт, один из представителей жанра так называемого готического романа, описывающего сверхъестественные и ужасные события. Байрон назвал Льюиса «поэтом гробов».

4.

Рэдклиф Анна (1764–1823) – английская романистка, писавшая произведения в «готическом» жанре. Создала тип героя-злодея.

5.

...он восторгался стоической философией, хотя сам, в сущности, был, как говорится, эпикурейцем. – Стоическая и эпикурейская школы (IV–III вв. до н. э.) возникли как противоположные друг другу направления в философии. Основатель стоической школы Зенон (ок. 336–264 до н. э.) выдвинул идеал человека, стремящегося к добродетели и стоящего выше внешних условий жизни. Эпикур (342–270 до н. э.) – философ-материалист и атеист. Основа его этики – понятие разумного удовольствия. Но еще в древности эпикурейство стали понимать как стремление к наслаждению всеми земными благами. Жорж Санд употребляет слово именно в этом значении.

6.

Оссиан – легендарный кельтский бард. В 1765 г. шотландский поэт Джеймс Макферсон издал сборник поэм, которые выдал за английский перевод произведений Оссиана. Книга имела большое влияние на европейские литературы.

7.

Парфенон – построенный в V в. до н. э. храм Афины. Расположен на афинском Акрополе. Скульптуры выполнены Фидием.

8.

Эклога – стихотворение, воспевающее пастушескую жизнь. Римский поэт Вергилий (70–19 до н. э.) написал сборник «Буколики», состоящий из десяти эклог.

9.

Нинон де Ланкло (1616–1706) – известная своей красотой и остроумием французская куртизанка, которая, по словам современников, до глубокой старости сохранила свое обаяние.

10.

Корреджо (настоящее имя – Антонио Аллегри; ок. 1490–1534) – итальянский живописец, картины которого отличаются замечательным колоритом и светотенью.

11.

...с женщиной, обвиненной в прелюбодеянии, с самаритянкой, с Марфой и Марией, наконец, с Марией Магдалиной. – Эпизоды из Нового Завета, свидетельствующие о милосердии Христа. Женщину, приведенную к нему на суд по обвинению в прелюбодеянии, он отпустил, сказав ее обвинителям: «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень». Говоря о самаритянке, Жорж Санд имела в виду, вероятно, другой эпизод: Христос исцелил дочь одной язычницы (хананеянки), потому что ее мать уверовала в него. Марфа и Мария – две сестры, каждая из которых по-своему служила Христу: одна – готова ему угощение, другая – внимая его проповедям. Мария Магдалина – грешница, прощенная Христом и ставшая святой.

12.

...притча о работниках двенадцатого часа. – Одна из притч Христа, где речь идет о хозяине, поровну заплатившем тем, кто работал целый день, и тем, кто начал работу только в последний час. Смысл притчи в том, что Богу дороги и праведники и грешники, обратившиеся к нему в самый последний момент.

13.

Лукреция, по античному преданию, покончила с собой из-за того, что ее обесчестил Секст, сын царя Тарквиния Гордого (IV в. до н. э.). Римский историк Тит Ливий утверждал, что трагическая смерть Лукреции была причиной свержения Тарквиния и установления республики. Лукреция Флориани, по мнению Жорж Санд, столь же целомудренна, как и античная Лукреция.

14.

Улисс, или Одиссей, – герой эпической поэмы Гомера «Одиссея».

15.

И ты, Брут? – знаменитое восклицание Цезаря, увидевшего среди своих убийц Брута, бывшего его другом, а по другим источникам – сыном. См., например, Гай Светоний Транквилл «Жизнеописание двенадцати цезарей».

16.

Не уподобляйся некоей прусской принцессе... – Речь идет об Амалии Прусской (1723–1787), младшей сестре Фридриха Великого. Ее упорный отказ от замужества приписывали любви к прусскому офицеру-авантюристу Фридриху фон Тренку (1720–1794). Жорж Санд пишет об этом в романе «Графиня Рудольштадт».